

ГОСТИНАЯ-2026

МЕНИПШЕЙ ВЕСНЫ

Вып.2-2026

Колонка редактора

Вера ЗУБАРЕВА. Писатели и издатели, или Имеет ли смысл оплачивать издание своей книги?

ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТОРА. Бегущая строка. *Авторская рубрика Марины Кудимовой*
Марина КУДИМОВА. Играем «Мышеловку»

ЭХО. *Авторская рубрика Александра Мелихова*
Александр МЕЛИХОВ. Куприн
Александр МЕЛИХОВ. Ильф

ПОЭЗИЯ

Юлия БЕЛОХВОСТОВА. Не привыкай к зиме...
Надежда БЕСФАМИЛЬНАЯ. В ожидании Пасхи
Наталья ЕЛИЗАРОВА. Внезапный свет
Вера КАЛМЫКОВА. «Не выпущу из памяти ни дня...»
Светлана ПОПОВА. Органика

ПРОЗА

Елена ЛИТИНСКАЯ. Под созвездием ковида. *Рассказ*
Валериан МАРКАРОВ. Неношеное платье. *Рассказ*
Татьяна ОКОМЕНЮК. Фантомные боли. *Рассказ*
Ольга ПРИЛУЦКАЯ. Манюнька. *Миниатюра*
Михаил СМИРНОВ. Брат. *Повесть*
Наталья ТРУШ. Кошка. *Миниатюра*

ЭССЕ

Ефим БЕРШИН. На развалинах Вавилона

ВОСПОМИНАНИЯ

Ирина ШУЛЬГИНА. Слова запоздалые

МЕЖДУ КРИТИКОЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕМ. *Авторская рубрика Риммы*
Нужденко

Римма Нужденко. Поэт и мадонна Мурильо. *О романе В. Маркарова «Чёрная роза Тифлиса».* (Опыт прочтения прозы)

ОДЕССКАЯ СТРАНИЦА

Одесса: история и люди

Гости ОС

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Одесские стихи
Рада ПОЛИЩУК. Несбывшаяся любовь безногого Элиягу. *Рассказ*
Поэзия и проза

Валерий БОДЫЛЕВ. Эскиз неведомого года. *Стихи*
Ирина ДУБРОВСКАЯ. Где-то музыка звучала... *Стихи*
Владислав КИТИК. Минувших споров календарь

Татьяна ПАРТИНА. Позвони мне на очки. *Миниатюра*

Морские хроники

Аркадий ХАСИН. Мои выговоры. *(Из истории Черноморского пароходства)*

Одесские зигзаги

Сергей БРАЙКО. Что для меня Одесса?

Тамара КОЛЕНКО. Одесская коммунальная квартира

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вера ЗУБАРЕВА. Писатели и издатели, или Имеет ли смысл оплачивать издание своей книги?

Писатель должен издаваться. Спору нет. Но вопросы есть. Первый и наиболее актуальный – имеет ли смысл оплачивать издание своей книги? Второй – имеет ли смысл издаваться в издательстве, собирающем деньги на издание очередной книги (краудфандинг)? Третий – имеет ли смысл издаваться в издательствах, размещающих книги в сетевых магазинах и этим и ограничивающихся?

Единого ответа нет и быть не может. Три типа издательств предлагают разные услуги, и в каждом отдельном случае есть нюансы. Но что их объединяет – это вопрос распространения. Чисто логически – если издатель признаётся, что денег на издание книги у него нет, значит и денег на рекламу, распространение, продвижение своей продукции у него нет и подавно. Это, в свою очередь, означает, что у него нет материального базиса, который позволил бы издавать. Базиса нет, поскольку издатель не подготовил его перед тем, как открыть издательство, а открыв, не сумел распространить свою продукцию в той мере, чтобы выполнять обязанности издателя, а не продвинутого печатника или посредника между печатником и автором, предлагающего за дополнительную сумму ISBN, дизайнера и сетевую рекламу своей продукции, как, к примеру Ингрэм.

Если задача писателя ограничивается изданием небольшого количества экземпляров за свой счёт с целью раздарить экземпляры близким друзьям и родственникам, то обращение к такому издателю вполне оправдано. В таком случае, соглашаясь оплатить издание своей книги, писатель молчаливо соглашается и на то, что всё остальное он тоже берёт на себя. Это реальность. С ней нужно дружить, чтобы не было эффекта ложных ожиданий.

Затраты по изданию книги в современных условиях сравнительно небольшие по сравнению с её неформальным активным продвижением, включающим личную инициативу издателя – его участие в книжных ярмарках, организацию встреч с писателем, задействование критики, журналов, магазинов, поставку образцов в книжные клубы в надежде, что читатели будут покупать книгу, номинирование на литературные премии и пр., и пр. Всего не перечислишь.

Найти настоящего издателя в наши дни непросто. Издатель не должен быть «производственным» (термин пушкинского круга, обличающего ремесленников от литературы). Он должен понимать разницу между прибыльными поделками занимательной жанровой литературы и литературой большой. Прибыль для такого издателя – средство, а не цель. Цель – вкладывать в развитие большой литературы. Но для этого нужно иметь вкус, талант и понимание.

В качестве эталона можно назвать известного русского издателя Алексея Суворина. Блестящий журналист, критик, фельетонист и прозаик, драматург, политический памфлетист, подвижник, составлявший книги для народного чтения, он начал издательскую деятельность в 1870-х, выпуская «Русский календарь», чтобы на прибыль с продажи стать совладельцем «Нового времени». В числе его проектов была серия «Дешёвой библиотеки», позволившая издавать большим тиражом книги довольно

приличного качества. В этой серии вышел 10-томник Пушкина, выпущенный стотысячным тиражом. Особую страницу в его биографии занимает дружба с Чеховым, которого Суворин не только высоко ценил, но и всячески продвигал. «Ломоносов русской ежедневной печати», - так назвал его В. Розанов.

В своём дневнике Суворин писал: «Как издатель я оставлю прекрасное имя. Да, прямо так и говорю. Ни одного пятна. Я издал много, я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал все, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих».

ИГРАЕМ «МЫШЕЛОВКУ»

У классического шекспироведа А.А. Аникста читаем: «В сезоне 1600/01 года Шекспир дал театру только одну пьесу. Прошу прощения за слово “только”. Эта пьеса называется “Гамлет”». На афише не было имени автора, поскольку он продал рукопись театру. С. Шенбаум, американский автор документальной биографии Шекспира, писал: «...за “Гамлета” он (Шекспир – МК) получил, по-видимому, десять фунтов стерлингов... Получив единовременную плату, драматург больше не имел от пьесы никакого дохода. Ему не платили за повторные исполнения ее, не получал он ничего и за издание пьесы».

Если верить Аниксту, человечество отмечает 425-ю годовщину самого полифоничного, полисемантического и многотрактовочного произведения самого загадочного драматурга мира. Но почему же не верить? А потому, что ничего достоверного, когда дело касается Шекспира, просто не существует. Одни допущения! Теперь предположим, что некий юноша прочитал впервые трагедию «Гамлет» или посмотрел театральную постановку (фильм). Что он понял и почувствовал? Стал ли, закончив чтение, копаться в интернете и что там нашел? Смог ли взглянуть на трагедию «взглядом Шекспира», как советовал Пушкин Дельвигу? Или погряз в гипотезах об авторе (или предполагаемом авторе) трагедии и феномене авторства? Задался ли вопросами, неизбежно возникающими в связи с новыми знаниями? Ну, например, во имя чего участники «проекта Шекспир» приложили так много усилий, дабы скрыть подлинное имя автора тридцати шести (или семи) пьес, ста пятидесяти четырех сонетов и двух поэм (которые Пушкин признавал неудачными)? Зачем они подменили настоящего автора провинциалом низкого происхождения, который едва умел расписаться? Почему не выбрали из своих рядов фигуру, хоть сколько-нибудь соответствующую роли такого масштаба? Вопросы можно продолжать бесконечно. Как писал все тот же А. Аникст: «Все догадки не имеют никакого документального подтверждения. Наше любопытство в этом отношении остается неудовлетворенным». Эти слова можно поставить эпиграфом к мировому шекспироведению.

Идентификация автора *Гамлета* не перестала будоражить умы (и безумия) академических и самозванных исследователей, рождают самые фантастические (даже в их непрерываемом правдоподобии) теории, как будто нет на свете более важной задачи, чем доказать, что никакого Шекспира не существовало, что под довольно смешным именем «потрясателя копья» («копьеметателя») сочиняли многочисленные кровавые драмы и философские комедии десятки людей, среди них женщины и дети. Игорь Фролов подсчитал, что в авторстве Шекспира сомневались Марк Твен, Чарли Чаплин, Уолт Уитмен, Генри Джеймс, Джон Голсуорси, Зигмунд Фрейд, Чарльз Диккенс и другие именитые личности. Добавим: уже и Пушкину было известно, что «многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только им поправлены».

По самым скромным подсчетам, кандидатов на роль Шекспира существует 57. Примерно столько же прототипов подверстывают и под образ главного героя трагедии – принца датского. Когда шекспироведу Альфреду Баркову совали в нос очередную нестыковку в тексте «Гамлета» (а текстов-то, собственно говоря, четыре, и все разные), он возражал, что «из-под пера гениальных писателей в принципе не может выйти ничего такого, что не имело бы композиционного значения». И все меньше мы слышим – и задаем – вопросов, связанных не с историей создания и постановки трагедии, но с самой трагедией – её смыслами и контекстом. Например, с образом Могильщика, который играет в «Гамлете» не менее важную роль, чем сам принц. Все дело в масштабе аллюзии.

Как сказано в трагедии: «дома, которые он строит, простоят до судного дня». А когда судный день в культуре наступит, нет сомнений, что трагедия, по числу трактовок и сумме порождаемых эмоций сравнимая с вечным двигателем, до сих пор заново переводимая в тщетной надежде разгадать ее литературную или сверхлитературную тайну, трагедия, вдоль и поперек изъезженная режиссерами и актерами в тщетном усилии хотя бы этой причастностью закрепить в истории, снова выйдет на первый план.

Даже самые убедительные доказательства существования Уильяма Шекспира как человека нисколько не приближает нас к разгадке тайны и «Гамлета», и практически всех 36 остальных пьес, вошедших в историю в неразрывной связке с этим полумифическим именем. Но каждое повторное прочтение трагедии изумляет неиссякаемостью ее вариаций. «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью – такова смелость Шекспира...» Это слова Пушкина, который признавал, что работает «по системе Шекспира».

А. Барков толковал «Гамлета» как мениппею, то есть пьесу со скрытым смыслом, содержание которой прежде всего не следует понимать буквально. Главным героем мениппеи является некий рассказчик (или группа рассказчиков), по разным причинам заинтересованных в утаивании или собственной интерпретации истины. Возможно, многим будет ближе аналогия И. Фролова: «...во времена Шекспира процветало искусство стеганографии – умение скрывать в обычном тексте или рисунке сообщения, не предназначенные для глаз рядового читателя». Смыслы текста «Гамлета» проявляются, как древний палимпсест, под каждым новым слоем.

Принца датского до скончания времен будет волей-неволей играть каждый, кто предпочтет мысль действию. Мы все загнаны гением в пьесу «Мышеловка», которую принц представляет матери и ее новому избраннику. Это единственная пьеса, в авторстве которой никто не сомневается, когда дело касается Шекспира.

«СУДЬБА СВЯЗАЛА МОЁ ИМЯ С ТВОИМ». БУНИН И КУПРИН

Случившиеся более ста пятидесяти лет назад дни прихода в этот мир Бунина и Куприна разошлись примерно на полтора месяца. Они оба издавались в горьковском реалистическом «Знании» и в 1909 году разделили Пушкинскую премию. Куприн отреагировал довольно фамильярно: «Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи». Бунин же более корректно: радуюсь, что судьба связала моё имя с твоим. Тем не менее, однажды он назвал Куприна дворянином по матушке (она действительно происходила из рода татарских князей Кулунчаковых), а Куприн весьма критически отозвался об изобразительной манере Бунина: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит». Хотя признавал его отличный язык.

Но качество языка слабая компенсация, если раздражает смысл. Дворянский элегизм Бунина однажды подвинул Куприна на целую пародию «Пироги с груздями» (намек на «Антоновские яблоки»).

«Сиж у окна, задумчиво жуя мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль.

...Отчего мне так кисло, и так грустно, и так мокро? Ночной ветер ворвался в окно и шелестит листьями шестой книги дворянских родов. Странные шорохи бродят по старому помещицкому дому. Быть может, это мыши, а быть может, тени предков? Кто знает? Все в мире загадочно. Я гляжу на свой палец, и мистический ужас овладевает мной!

Хорошо бы теперь поесть пирога с груздями. Сладкая и нежная тоска сжимает мое сердце, глаза мои влажны. Где ты, прекрасное время пирогов с груздями, борзых густопсовых кобелей, отъезжего поля, крепостных душ, антоновских яблок, выкупных платежей?»

Стилистически совсем не похоже (то ли дело Набоков: звезды дивно и грозно горят на черном бархате ночи), да еще и с намеком на крепостнические симпатии Ивана Алексеевича, который ведь и в прозе оставался поэтом, говорил, что в вещи для него главное звук...

Бунина и при жизни, и после смерти не раз упрекали в аристократической надменности, и он словно бы в оправдание не раз подчеркивал связь своих предков с народом: «Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей...»; «Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев (...) Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская».

По известности и тиражам Куприн превосходил Бунина, но зато Ромен Роллан в парижском письме Луизе Круппи от 20 мая 1922 года писал: «Я получил приглашение на второй завтрак писателей. Вижу, что приглашен и Куприн. Я читал его роман «Поединок», изданный у Боссара. Он не очень интересен,— впрочем, довольно суров по отношению к русской армии и военщине вообще. Но достойно сожаления, что автор считал своим долгом извиниться за этот, уже устаревший, обвинительный акт в послесловии — восторженном дифирамбе во славу благочестивого русского воинства, которое восстанет из мертвых на третий день (...) Бесконечно интереснее Куприна Бунин. Читали ли вы его? «Господин из Сан-Франциско», также вышедший у Боссара.

Конечно, он отнюдь не наш, он неистово, желчно антиреволюционен, антидемократичен, антинароден, почти антигуманен, пессимист до мозга костей. Но какой гениальный художник! И, несмотря ни на что, о каком новом возрождении русской литературы он свидетельствует! Какие новые богатства красок, всех ощущений! Само же его сознание, я чувствую, пронизано (вопреки его собственной воле) духом необъятной, непостижимой Азии».

Антидемократичен, антинароден — набор привычный, но особенно пикантно здесь это «не наш» в устах нобелевского лауреата, впоследствии назвавшего свой визит к Сталину важнейшим делом своей жизни, а Советский Союз «великим новым миром, который является гордостью для всех нас и с которым мы связываем наши надежды».

Бунина напыщенными лозунгами одурачить было невозможно — он верил лишь тому, что видел, слышал, осязал, обонял, — все остальное казалось ему вычурностью и фальшью. То есть он терпеть не мог именно того, что более всего обожает публика, — политическую актуальность, причем непременно «прогрессивную», и философскую высоту, пусть даже и пустую...

В «больничных записках» 1968 года Чуковский вспоминает, как огромный наэлектризованный зал ожидал писателя Семена Юшкевича, который в последний момент был заменен Буниным, — и почти вся публика тут же ринулась получать деньги обратно. После пережитого унижения, возвращаясь с Чуковским по киевским улицам, Бунин «с первых же слов стал хулить своих литературных собратьев: и Леонида Андреева, и Федора Сологуба, и Мережковского, и Бальмонта, и Блока, и Брюсова...

Говорил он без всякой запальчивости, ровным, скучающим голосом, но видно было, что мысли, которые он излагает, — застарелые, привычные мысли, высказывавшиеся им тысячу раз». «Он говорил о писателях так, словно все они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху толпы. Леонида Андреева, который в то время был своего рода властителем дум, он сравнивал с гроыхающей бочкой — и вменял ему в вину полнейшее незнание русской жизни, склонность к дешевой риторике. Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна, Брюсова как совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой ученостью. И так дальше, и так дальше».

Бунинских отзывов о «модернистах» сохранилось много. Андрей Белый — исчадие книжности, все у него надуманное, мертвое, книжное. Блок — выдуманная, книжная немецкая поэзия... «Да, таинственность, все какие-то “намекы темные на то, чего не ведает никто” — таинственность жулика или сумасшедшего».

Георгий Адамович, уже после смерти Бунина, объяснял столь резкое мнение классика о его более в то время знаменитых коллегах отнюдь не ревностью к их славе: «Думаю, что вообще чутье к притворству, — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды, — было одной из основных его черт. Вероятно, именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно. Был ли он, однако, полностью прав в своей брезгливой непримиримости, не проглядел ли чего-то такого, во что взглянуть стоило, не обеднил ли себя, отказавшись прислушаться к отдельным голосам, по природе чистым, звучавшим в шумном, нестройном хоре русской литературы начала нашего века, — преимущественно в поэзии?»

Обеднил, разумеется, но, сделавшись в этом отношении богаче, он изменил бы своим заветам, на удивление «почвенническим». Еще в 1894 году в «Полтавских губернских ведомостях» молодой Бунин называет Ивана Никитина («Ехал на ярмарку ухарь-купец») великим поэтом и утверждает, что «все» гениальные представители русской литературы — «люди, крепко связанные с своей почвой, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость». И заканчивает «декадентами»: «Они

сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но природа жестоко мстит за это».

Вот вам и антинароден. Бунин мог бесконечно бичевать и обличать этот самый народ, но это была его естественная среда, — так и рыба может дышать жабрами только в воде, сколько грязи в нее ни намешать, и погибнет в чистейшем воздухе. Франция, в которой Бунин прожил более тридцати лет, проникла в его прозу разве что в качестве фона, декорации. А тот же Георгий Адамович приводит и такие слова Бунина: «Вы, я слышал, сомневаетесь, не начать ли писать по-французски? Что же, дело ваше. Но послушайте старика, бросьте эти затеи, хотя я и понимаю, как они соблазнительны... Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?». Не может ли быть, что еще и двуязычие Набокова побудило Бунина произнести о Набокове известные слова: чудовище, но какой писатель? А может быть, Бунина коробил и тот самый «уход от народа», которым Набоков, похоже, даже бравировал.

Куприн тоже не нашел во Франции питательных творческих источников. Хотя сами французы ему нравились.

«Славный народ, но не говорит по-русски, в лавочке и в пивной — всюду не понашему... А значит это вот что — поживешь, поживешь, да и писать перестанешь. Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое — хорошее, плохое — только родное».

«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но все точно понарошку, точно разворачивается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру».

«Но что же я могу с собою поделывать, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая, надоевшая, истрепленная фильма».

Мамин-Сибиряк говорил о Куприне: «Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно».

Куприн должен был не только видеть, что видят все, но еще и знать, чувствовать, обонять всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок, — за что его в конце концов простил и Ромен Роллан: «Я восхищён разносторонностью Вашего литературного гения и Вашей глубокой человечностью. Вы обладаете, в особенности, редким и очень характерным даром, заставляя оживать на страницах книг целые коллективы людей. Это-то и говорит о Вас как о человеке, который может подняться над великими достижениями эпохи и видеть сквозь них. Читая ту или иную страницу «Ямы», я распространял её смысл на всю Европу — этот огромный публичный дом накануне катастрофы».

Снова в точнейшем бытописательстве выискивается глобальный и банальный политический символ. А Куприну были дороги те минуты и часы, когда «в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь».

И в восхитительных «Листригонах» звучит это же ключевое слово: «Когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери». Как звери — для Куприна это высшая похвала.

Уверен, что это сам Куприн в «Яме» исповедуется словами журналиста Платонова: «Видишь ли, я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, — всего и не упомяну. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесл и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус...».

Здесь не случайно обрисован только нижний, так сказать, этаж бытия — в этот увлекательный перечень не попадает ни искусство, ни наука, ни философия, ни политика, претендующая (по крайней мере, в своих лозунгах) на высокое место — которого Бунин даже и не пытался ей уступать, а Куприн пытался, впадая в ту самую фальшь, которую Бунин в очерке о Куприне именовал «литературой» (разумеется, в кавычках), использующей чужие чувства и чужие слова.

«Молох» — агитпроп: «Тысячи людей, инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса».

«Яма» — краснота: «Этот нежный и страстный романс, исполненный великой артисткой, вдруг напомнил всем этим женщинам о первой любви, о первом падении, о позднем прощании на весенней заре, на утреннем холодке, когда трава седа от росы, а красное небо красит в розовый цвет верхушки берез, о последних объятиях, так тесно сплетенных, и о том, как не ошибающееся чуткое сердце скорбно шепчет: «Нет, это не повторится, не повторится!» И губы тогда были холодны и сухи, а на волосах лежал утренний влажный туман».

«Гранатовый браслет» — краснота и вовсе льется через край, по крайней мере, лично моего восприятия: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Да простят меня поклонники и особенно поклонницы «красивого» Куприна, но, на мой сиволапый взгляд, все возвышенное у него книжно и ходульно, зато все обыденное так и дышит подлинностью, как, скажем, репинские портреты. Но что получилось бы у Репина, надумай он написать нечто символистское в духе, скажем, Гюстава Моро?

Впрочем, возможно, кому-то и удастся упиться роскошествами «Суламифи», едва ли не затмившими флоберовскую «Саламбо»: «Посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его — грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис», — уфф, больше не могу.

В общем, когда после его эмиграции литературные политруки обвиняли Куприна в том, что он не увидел роста пролетариата и не разглядел женщины-общественницы, это была чистая правда: Куприн или уж улетал в пышные фантазии, или держался того, что знал, видел, обонял и осязал. Куприн и под властью большевиков долго держался за родную стихию: «Мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы, — думали мы, — на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?». И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих пальцы» («Купол святого Исаакия Далматского»).

В том же прощальном «Куполе» он объясняет свой уход с Юденичем без всяких ссылок на отсутствие политических свобод («не дорого ценю я громкие права») — речь идет лишь о бытовых свободах: «Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать — все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выключенного, унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное — неприкосновенность дома, жилья...»

«Старый, древний быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительно унижительное словечко для иных писателей — «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов — почему в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в общей жизни?» («Извощик Петр»).

Это об уже утраченном быте. А в «Поединке», по крайней мере, для быта армейского, Куприн среди множества точных и сочных слов не находит ни одного доброго слова.

Вот любимый молодыми офицерами разговор о сошедших с рук кровавых расправах со шпаками (которых, по идее, армия должна защищать), — там пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, сям пехотный подпоручик зарубил в танцевальной зале студента за то, что тот толкнул его локтем у буфета, еще где-то офицер застрелил, «как собаку», штатского, в ресторане сделавшего ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают...

Зверский же мордобой при обучении солдат нелепой шагистике и бессмысленным уставным заклинаниям и вовсе нечто само собой разумеющееся.

Единственный мыслящий человек в полку Назанский страдает запоями, но и он главную вину офицерства видит даже не в мордобое: *«Давно уже, где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок, совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы, рушатся старые башни и подземелья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят — во веки веков».*

Монолог сильный, но тоже написанный явно с чужих слов, потому что никаких смелых гордых людей с пламенными свободными мыслями Куприн ни разу не изобразил даже приблизительно. А его милый недотепа Ромашов в мечтах о подвигах, о славе грезит в том числе и о том, как храбро он будет расстреливать рабочую демонстрацию.

Купринский кадетский корпус — «На переломе (*Кадеты*)» — с его «всеобщим безусловным признанием прав физической силы» и кодексом вражды к начальству

напоминает бурсу Помяловского, да и заканчивается отвратительной сценой порки главного героя, затравленного вымогательством дебильного переростка.

«Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да, полно, зажила ли она?».

Вопрос задан в 1900-м году.

Зажила, отвечают «Юнкера» 1933-го года.

Бунин в «Окаянных днях» размышлял о России, которую они потеряли, тоже в полном соответствии с поговоркой «Что имеем, не храним»: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...».

В «Юнкерах», правда, незаметно ни мощи, ни сложности, изложение почти всегда суховато: «Из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь».

«Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш. (...) Знамя остановилось у аналоя».

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови»...

И так далее, и так далее, и так далее.

Почти невозможно дочитать до конца. Но Куприн приводит полностью текст этой длинной присяги отнюдь не из-за старческого занудства: «Я хотел бы, чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. „Юнкера“ — это мое завещание русской молодежи».

Жизнь, обычаи, традиции юнкеров — уже не скука и унижения, а благородные труды и радости: «Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела». А когда во время студенческого бунта какой-то «изношенный» студент кричит ему из-за ограды университета: «Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы!» — и тому подобное, герой лишь кротко размышляет: этот студент или глуп, или несчастен, или кем-то науськан, но вот настанет война, и он, юнкер, пойдет их всех защищать. «Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова!»

Георгий Адамович о парижских годах Куприна вспоминал так: «Здесь, даже еще не будучи старым, но как-то по-стариковски держась, Куприн казался каким-то добрым дядюшкой от литературы, готовым на все ответить улыбкой, склонным чуть ли не все понять и простить»; «и во всех его поздних писаниях есть нечто отвечающее этой беспомощности, этому блаженно-расслабленному состоянию, где-то посреди между старческой умудренностью и старческим маразмом»; «все в нашем оклеветанном мире «добро зело», вот жаль только, что вскоре этот чудный мир придется покинуть...».

Поэтому я не думаю, что в благостных купринских интервью тридцать седьмого года прямо-таки все вписано руками политруков — таким действительно было его мироощущение последних лет: «Даже цветы на родине пахнут по-иному».

ИЛЬФ

13 апреля 1937 года ушел из жизни Илья Арнольдович Ильф, урожденный Иехиел-Лейб Арьевиц Файнзильберг. Свой псевдоним он составил из первых трех букв имени и первой буквы фамилии, но, возможно, это была и еврейская аббревиатура. И этот псевдоним естественно влился в имя писателя «Ильф-Петров». «Иля», как его называл Петров, был третьим сыном Миндль Ароновны и Арье Беньяминовича Файнзильберга — бухгалтера в отделении Сибирского банка на Дерибасовской. Сам будущий писатель после окончания «школы ремесленных учеников», дававшей звание подмастерья, перед Первой мировой успел поработать в чертёжном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат, а после революции еще и бухгалтером, как папа Арье. Неясно, однако, где этот юноша набрался европейского духа, которым в начале двадцатых он поразил редакцию железнодорожной газеты «Гудок», где тогда работали Булгаков, Катаев, Олеша, Петров, Паустовский...

Катаеву Ильф показался изысканным продуктом западной и главным образом французской культуры и даже ее новейшего искусства, приобщившимся к ним, скорее всего, еще до великой октябрьской социалистической катастрофы. Одетый, как и все, во что Бог послал, он смотрелся космополитической птицей, и даже кепка с барахолки на его голове приобретала парижский оттенок. И писал он нечто изысканное, отдающее и верлибром, и словесной живописью, и философской эссеистикой, — взять такого в советскую газету можно было разве что на самую низкую должность правщика. В чьи обязанности входило доводить до газетного стандарта длинные малограмотные письма рабочих-железнодорожников. И новый нижний газетный чин ухитрился из этого тягомотного сырья изготавливать что-то вроде прозаических эпиграмм, доходчивых, изящных и настолько смешных, что отстойная четвертая полоса быстро сделалась наиболее читаемой и любимой. Парижская утонченность на первозданном российском сырье произвела на свет блестящего журналиста. А печальная ирония Ильфа в сочетании с эксцентрической фантазией Петрова породила уже классический дуэт.

«Как печально, что первичным признаком мужчины является...»; «Осадок, всегда осадок. Приезжаешь к морю. Разочарование — оно могло бы быть больше», — в записных книжках Ильфа есть ум, наблюдательность, но практически нет фантазии, без которой большой писатель невозможен. Похоже, Ильф и Петров подпитывались друг от друга тем, чего каждому из них недоставало для отдельного творчества: Ильф — эксцентрикой, Петров — сарказмом.

И вот еще письма Ильфа жене-художнице.

1922 год, Одесса: *«Мне незачем писать тебе, раз мы можем видеться каждый день, но до утра далеко, и вот я пишу. Мне кажется, что любил тебя еще тогда, когда зимой, под ветер, разлетевшийся по скользкому снегу, случайно встречался с тобой. Если с головой завернуться в одеяло и прижаться в угол, можно ощутить твое дуновение, теплое и легкое. Завтра утром я приду к тебе, чтобы отдать письма и взглянуть на тебя. Но одно письмо я оставляю при себе. Если кричат пароходы ночью и если ночью кричат журавли, это то, чего еще не было, и как больно я тебя люблю».*

Из Москвы: *«Милая моя девочка, разве Вы не знаете, что вся огромная Москва и вся ее тысяча площадей и башен — меньше Вас. Все это и все остальное — меньше Вас. Я выражаюсь неверно, по отношению к Вам, как я ни выражаюсь, мне все кажется*

неверным. Лучше — это приехать, придти к Вам, ничего не говорить, а долго поцеловать в губы, Ваши милые, прохладные и теплые губы».

Оттуда же: «Я люблю Вас, моя дорогая нежная милая девочка. Ваше письмо заставило меня расплакаться. Я слишком долго напрягался, я ждал его целую неделю. Я не сдержался, не мог этого сделать и плакал».

Из Америки: «Милая моя, нежная дочка, я уже очень заскучал. Ни тебя нет очень долго, ни Пига маленького. Дети мои родные, мне кажется, что никогда больше с вами не расстанусь. Без вас мне скучно. Вот ходят по улицам индусы, японцы, голландцы, кто угодно, и Тихий океан тут, и весь город на падающих склонах, а мне уже чересчур много, мне нужно вместе с тобой посмотреть, как наша девочка спит в кровати».

Дочь Ильи Ильфа, не помнившая отца, только после смерти матери узнала, что она втайне от всех много лет отвечала ушедшему любимому на его письма.

«Вот снова прошло много времени, и я читаю. Часто нельзя — разорвется сердце. Я старая, и вновь я та, что была, и мы любим друг друга, и я плачу. Мне очень скучно без него, с тех пор, как его нет. Я читаю его письма и плачу, что же я не убила себя, потеряв его — свою душу, потому что он был душой моей. Никто никогда не мог сравниться с ним. Голубчик, голубчик мой единственный любимый. Тоска, такая тоска. Вся моя прожитая жизнь здесь, до последнего его дня. Прощай, Иля. Мы скоро увидимся».

Юлия БЕЛОХВОСТОВА. Не привыкай к зиме...

* * *

Не привыкай к зиме, пускай она повсюду –
рождественской звездой, узором на стекле,
у дома и в лесу – не привыкать же к чуду,
пускай оно бежит поземкой по земле.

Придумай, для чего из дома выйти ночью:
на лестнице стоять и слушать тишину,
смотреть, как липнет снег на ягоду сорочью,
как шапкой тяжело ложится на сосну.

Зависнет мир на миг, подвешенный как-будто,
и нитку тишины порвет собачий лай,
но к этой красоте, продлившейся минуту,
застигнутой тобой врасплох, не привыкай.

* * *

Вроде бы ночь как ночь: снегопад нелётный
снова Москву сбивает с ритма весеннего,
но отчего-то стало тепло и щекотно
где-то чуть ниже солнечного сплетения...

Вроде бы голос прежний, не слишком нежный,
жалкий десяток слов соскребают с радости,
чтобы сплести их в сетку из рифм падежных,
но становлюсь уловом легко и с жадностью.

Вроде, не первый раз замело по окна
– эта зима на редкость выдалась зимняя –
только опять едва успеваю охнуть,
как на себя срываю твою лавину я.

Вроде бы ночь как ночь, и не слишком звёздно,
и от луны на стенах вижу лишь тени я,
но отчего-то пахнет уже мимозой
и горячо от солнечного сплетения...

* * *

Вот стол овальный без углов,
вот скатерть с неподшитым краем,
вот мы на краешке снегов
по крошкам зиму собираем.

А крошки тают на руках
и растекаются сквозь пальцы,
и снег, разбитый в пух и прах,
ещё пытается цепляться

за локти ивы и ольхи,
за старой яблони колени,
за трав соломинки сухих,
постеленных в ногах сирени.

А нам, сидящим у стола
друг против друга, а не рядом,
ни локтя нету, ни угла,
и не за что цепляться взглядом.

* * *

На третий день, в окошко обнаружив
внезапное движение реки,
вокруг голубоватой рыхлой лужи
уселись терпеливо рыбаки,

и ты, проснувшись необычно рано,
скользя на льдом покрывшихся мостках,
по-моему, уже немножко пьяный
идешь со щукой пойманной в руках.

Я удивляюсь щедрому улову,
порывистому ветру за окном,
и твоему полуденному слову,
за солнцем заплывающему в дом.

Укутанные плечи и колени,
дымок из кружки, вьющийся плющом...
Все сбудется по щучьему веленью,
а как еще, как может быть еще?

* * *

Возвращаться. Узнавать дорогу,
каждый куст сиреневый обнять,
к запахам знакомым понемногу
запах свой подмешивать опять.

Проводить рукой по полке книжной,
сдвинув шторы, наблюдать в окно,
как на сером небе неподвижном
облако становится луной.

Кофе пить, прикуривать от спички,
удивляться разным мелочам,
даже тем, которых по привычке
раньше никогда не замечал.

Начинать не с первого абзаца
старый перечитывать роман.
Изучать науку возвращаться,

забираясь с пледом на диван.

Это будет вторник, нет, суббота,
день пройдёт, неделя, целый год...
Возвращаться можно, если кто-то,
на часы поглядывая, ждёт.

* * *

Поживём ещё, потому что солнце,
потому что ноги сухие в кедах,
и последний минус ночной придётся –
если верить гуглу – на эту среду.

Поживем, загадывая помногу,
не стесняя образности желаний,
ничего не зная – и слава Богу –
друг о друге в личном необщем плане.

Разбирая старые фотоснимки,
где стоят в обнимку чужие люди,
и не важно, где мы бывали с ними,
и не страшно то, что уже не будем.

Но для тех, кого узнавать не сложно,
закипает белая пена вишни,
и возможно, мамин рецепт пирожный
к сентябрю придётся совсем не лишним.

Доживём до спелости или дольше,
потому что лето не за горами,
а за лесом, ландышами заросшим,
за ветвистой ивой в оконной раме.

Надежда БЕСФАМИЛЬНАЯ. В ожидании Пасхи

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ

Всё то, что март управить не сумел,
пускай счастливо сбудется в апреле.
Ты плети роз, лежащих на земле,
спешишь поднять и привязать к шпалере.

Идут–гудут весенние шумы,
оживший сад богат на прибаутки,
наперебой цепляются шипы
за рукава и полы старой куртки.

Через перчатку чувствуешь укол,

но эта боль рукам твоим привычна,
в молодняке черешневом щегол
на все лады поёт о чём-то личном.

Ещё одна, в шипах колючих, плеть
подставит кожу солнечному свету,
но в этот раз не хочется подпеть,
добавив звуков птичьему куплету.

Ты видишь туч тяжёлых пелену,
попробуй их из небосклона выкинь,
и слышишь гром, похожий на войну,
на ту войну, к которой не привыкнуть.

В ОЖИДАНИИ ПАСХИ

Вот и верба давно отцвела,
Схлынул паводок зимней закваски,
И от яблонь цветущих бела
Эта поздняя Пасха.

Созревают в печи куличи,
Соблазняют изюмом и сдобой,
До поры их запри на ключи
И на запах лишь пробуй.

На рогатины вздёрнута вервь,
Простыней понавешано густо –
Намывается чистый четверг
До телесного хруста.

... Вот живьём бы да за окоём,
Ни души не лишаясь, ни чресел...
Ну а если мы всё же умрём,
Неприменно воскреснем?

... На мечты ли, на сон повело,
Или что-то припомнилось смутно,
На затылок ладонью легло,
Только в ту же минуту:

За окошком закатный эдем,
И небес розовеют подзоры,
Еду в поезде, яблоко ем
Вдохновенного сбора.

К РОЗАМ

Так и спала б, чиста, верна, честна,
На мягком ложе звёздного комфорта,
Но, как назло, опять лишает сна
Разгорячённый зов аэропорта.

В нём – уйма вёрст от трепетной зурны
До тихих голосов далёких звонниц...
Посадки–взлёты за полночь вредны
Асимметричным пением бессонниц.

На уйму снов – огромная кровать
В блаженной командировочной нирване
Увещевает сладко почивать,
Но как же хорошо не спится, няня!

Всё тянет ночь гулять на поводке,
И ты за нею следуешь послушно
...Какие розы в южном городке
Цветут наперекор нещадной суши!

Им дорог каждый час бодрящей мглы,
Коль снова лето жизни перепало!
Печальны, чайны, розовы, белы
И непременно алы.

Их тонкий аромат в прохладе гор
Обозначает новенькие сутки...
А сон придёт, по–хитрому нескор,
За пять минут до утренней побудки.

ШИПОВНИК

В одной из жизней, помнится, в июне
Здесь ярко цвёл шиповниковый куст.
Текли стихов восторженные слюни
В избытке слов и незнакомых чувств.

Текли стихи, как девственная сучка,
Под кантилену вешних шепотков,
Кололи пальцы мелкие колючки,
В предвосхищенье возраста шипов.

Кружила птица – та, от Метерлинка,
А может просто неба синий клочок –
И языком с мизинчика кровинку
Слизнуть пытался лёгкий ветерок.

Теперь здесь всё не так литературно,
Поток стихов отцвёл и пересох

И задирает лапу рядом с урной
Неуставной весёлый кабысдох.

Но солнца луч, отчаянно неярок,
На склоне дня почти уже в раю,
В осенний цвет шиповниковых ягод
Окрасит в парке старую скамью.

Она как прежде – место откровений,
Рукой за воздух больно ухватись,
Где шип – игла, приколотая к вене,
По капле слову продлевает жизнь.

* * *

В пропылённой седой поволоке
Незадёрнутых штор органза:
Как привязчивы и светлооки
Одиноких квартирок глаза!

Что за странная жизнь нараспашку –
На виду, на ходу, не таясь,
Будто с миром за окнами страшно
Оборвать сердцевинную связь.

В ложах окон галёрочный зритель,
(пять диоптрий в лорнете, бонжур!),
Сквозь вуаль в снегопад посмотрите –
Это я мимо вас прохожу,

Это мне заглянуть любопытно
В незашторенность ваших квартир,
Это я ваши жизни бесстыдно
Протираю глазами до дыр.

И не терпит желанье запрета,
Хоть на вето рассудок горазд –
И зачем вам всезнание это,
И какое мне дело до вас?

Мне бы взгляд поскромнее и кротче,
Вам – убрать из лорнета стекло
И закрыться гардинами ночи,
Чтоб ни вы и ни я и никто.

Будем жить без оконной приязни,
И во взглядах растить пустоту...
А давайте оставим для связи
Снегириное солнце во льду.

...Ах как долго в прогнозах погодных

Не хватало январской пурги!
День и ночь, без посадки на отдых
Мельтешат в голове снегири.

ЗИМНИЙ СОН

На полу скучают тапочки,
Млеет в чашке оранжад,
Непоседливые бабочки
Надо мной во сне кружат.

Дня зеркальная запрудина –
Глубоко не занырнуть –
Чуткий сон послеполуденный
Так легко переморгнуть.

Кровля солнцем раскалённая,
Но прохладой дышит дом,
Тело лёгко запелёнуто
В пестроткань коротких дрём.

Снятся примула, калужница,
Белоцветник да мускарь,
А глаза откроешь – выюжится,
Всё–то выюжится февраль.

Всё–то крапит стёжку крапами
И сметает помелом,
Дверь морозной лапой лапает,
Да выстуживает дом.

Ты, представившийся нарочным,
Что по снегу приходил,
Подскажи, кто эту бабочку
Мне на сердце посадил.

ВОТ–ВОТ

Мороз жара и снова стужа
безрыбье рек и в луже клёв
и так не хочется нарушить
неупорядоченность слов
на тьме молчанья – дня насечка
не поскользнься на тонком льду
от сигареты дым колечком
вот–вот исчезнет на лету
вот–вот растает окаянный
по нём и станет сердце нить

Надеть его на безымянный
И так на пальчике носить.

Наталия ЕЛИЗАРОВА. Внезапный свет

* * *

Открывается дверь, и этого ты не ждал.
Ты забыл о том, что есть она там, в стене.
И как будто давно пропала в такой нужда,
или просто боишься скопившихся "за" теней.

Открывается дверь — и оттуда внезапный свет,
словно день весенний прошёл к тебе снова в дом,
словно это рвётся в сознание благая весть.
Ты хотел бы верить, но веришь теперь с трудом.

* * *

Помню, играли в жмурки.
С завязанными глазами
папа ходил по комнате
крошечной нашей хрущёвки,
и, растопырив руки,
он натыкался на мебель:
на шкаф, окно заслонявший,
и на журнальный столик.
А мы, не очень большие
дети, могли увернуться
и, рук его избегая,
ловко уйти под локоть.
Я пряталась в старой кладовке,
как будто играли в прятки,
сидела под старой шубой
в пыльном и тесном мраке,
а иногда засыпала,
шубный вдыхая запах.
Долго водящим папа
был, и меня искали
долго, а я сжимала
связку в руках с ключами.
Я ключи собирала
езде, где лежали плохо,
носила с собой всю связку,
как ключница не старуха.
Казалось, что будет нужен
когда-то заветный ключик.
Откроют мою кладовку...
Найдут в темноте беглянку...

И жмурюсь на свет спросонья
и вижу водящим папу.

ПИСЬМО

*«Что бывает отдельное
от всеобщей беды...»*
А. Кубрик

А мы живём хорошо:
Павлик пошёл на горшок,
а Зоя — в 4 класс,
приходит из школы — рассказывает нам о нас:
о важном и о неважном — о ерунде,
как форму школьную зацепила и порвала,
и крохотный лоскуток остался там, на гвозде,
но это ведь мелочи...
Как там ваши большие дела?
Да и просто: вы где?

* * *

Никогда у меня ещё не было
серой такой зимы,
понедельника серого,
воскресения серого...
Может, должны все мы
написать письмо Деду Морозу:
пусть снега скорей приплёт,
чтоб гололёд,
чтобы лыжи, коньки и гипс
и белее снега бинты.
Нет, говорят, зима только по спискам,
и в этом пока — только ты.

* * *

Стоит просто молчать —
этот сыплющий снег невесом,
этот свет фонаря задевает всегда за живое, —
если нет больше слов, если ты уже высказал всё,
пусть теперь не кровит, а скорее уже заживает.

Эта зимняя блажь — застывать посреди пустыря
или детской площадки с забытой лопаткой
и стоять в свете звёзд или меркнувшего фонаря
с этой волчьей повадкой.

Что наш вой? Всё так было, и будет, и есть.

Бесполезно скулить, помечая фонарь в подворотне.
Ты лопатку возьми и построй настоящую крепость,
сделай двери и окна.

* * *

Не притягивай смерть, она часто приходит сама,
и дары её жалкие — слезы и горечь потери.
Не понять, не принять, и, дай бог, не сойти бы с ума,
выкликая: не верю, не верю, не верю.

Не заигрывай с ней, эту суку не перебороть,
не унять, не сдержать и не договориться.
И приходит внезапно, и жадно вгрызается в плоть —
ни труда, ни суда, ни чертей не боится.

Отмахнись от неё и поплрой за любое плечо,
ну а лучше отправься поодаль своею дорогой.
Никого не обидь, не жалея никогда ни о чём.
Это много уже. Не считай, что немного.

* * *

Не скули с утра — научись дышать,
застели постель и лицо умой.
Под резинку косы, на шею шарф,
почитай, ярмо.

Выходи неспешно, а если есть
хоть малейший шанс, то останься здесь.

* * *

*«Прилетала случайная птичка.
Спеленала её тишина...»*
Мария Знобищева

Случайная птичка на птичьем балу,
иссиние крылья твои здесь не к месту,
забита, зажата, задета — в углу,
тебе здесь не будет питья и насеста.

Зачем прилетела и гордо кричишь?
Твой голос картавый противен собратьям,
они любят трели — что здесь возразишь —
и яркие, и разноцветные платья.

Тебя здесь отловят, заставят молчать,
и перья твои разлетятся по свету...
И вдруг в тишине в незатейливый час
твой голос раздастся поэту.

* * *

Поэтов убьют... Такие это дни,
когда нет слов, и говорить стихами
лишь можется — стихи, стихи одни
останутся на камне.

* * *

Е.Ж. и Е.С.

Ле-ен-ка, — звучит в окно.
Где же ты? Ужинать приходи.
Мама звала тебя, но давно,
что ей память-то беречь.
Девочка — со двора бегом,
наша-то — да из дома вон,
в гулкую домовину.
Вырвана пуповина.

* * *

Плохонький выдался век — а какой был хорош?
Время косило людей — недоспевшую рожь,
в кучи валяло, сминало, чтоб гнить под дождём.
Может быть, век этот легче мы переживём?
Бомбы нас минут, и голод, и страшная смерть.
Солнце осветит стерню, и останемся зреть,
нас позабудут у края, у леса — вдали,
самую соль мы возьмём от родимой земли.

* * *

Они вперёд, а там зашторено,
и здесь им пусто и темно.
Так мальчики идут в историю,
девчата — с ними заодно.

И юные, неторопливые,
не знавшие потерь и бед,
препятствия они, счастливые,
обходят друг за другом вслед.

Они не знают об опасностях,
они не ведают стыда.
Пусть будет их судьба прекрасною
или не будет никогда.

Вера КАЛМЫКОВА. «Не выпущу из памяти ни дня...»

* * *

Я всё запомнила, и каждый миг
я перелю в объёмистое слово.
Сберечь, чтобы потом вернуть тебе —
и стать твоей возможностью вернуться.
Не выпущу из памяти ни дня.
Мужской судьбы извилисты дороги,
а женский путь — ползти, спрямлять углы,
стелить соломку, возвращать на место...

...а безысходность сбывшихся надежд!..

Я столько раз мечтала умереть,
а сколько раз ещё пожить решала,
что нынче закрома мои пусты,
лишь в погребке блестят бока сосудов:
за каждой каплей надобен пригляд.
Пускай не высохнет, не испарится...

* * *

Я дни проживаю до самого дна —
романтика, блеф, белена, пелена,
в ушах полнозвучен зашкаливший пульс,
но это реальность, и я не проснусь.

Я бодрствую. Ясен и призрачен путь,
дорога легка, но готова свернуть,
и вместе с собой завернуть и меня,
в бетон закатав до скончания дня.

Тиха, молчалива, смиренна, кротка,
я выдержу вес, ведь дорога кратка,
покорно во тьме растворится скелет,
но в месиве жутком тaitся стилет,

он вырежет форму и выбросит ввысь,
он будет будить: «Подымайся, проснись».
Дорога длиннее, и вечен возврат,
бездонные дни вдоль дороги стоят.

* * *

землю свою носит моя душа
каждый день волочит её на горбу
ох упала бы если б знала куда и как

нам две тысячи лет назад показали путь по воде
мы не знаем броду и всё норовим лететь

* * *

Льву Саксонову

Оставляя кровавые клочья у каждой святыни,
сил нет больше бежать до последней из главных святынь.

Отдавая судьбу свою времени капля за каплей,
замереть и ни пяди, ни крошки судьбы не отдать.

...А ведь сказано ясно, имеющий душу да слышит:
легче лёгкого — камень замковый с души отворить.

Так зачем же мне тела початок и крови отмерок,
если выйти нельзя и себя не вернуть нипочём?

Разве я не земля, та, которой со временем стану,
разве в муках телесных душа не забыла свой путь?

Эти вечные кровь и земля называются телом,
да и камень — всего лишь смешение крови с землёй.

Легче лёгкого синь его: сдвинь его, скинь его, ну же.
а Господь довершит остальное.

Но как отворить?

* * *

Памяти Инны, Елены, Марьяны, Мариш

Космос открыт для всех. Звёзды свистят в упор.
Я посреди — обеспамятев, обомлев.
Время идёт, дорогая, а ты мертва до сих пор.
Неужели не жаль праздно лежать в земле?

Кукиш, обман, мираж, бегство, просак, простой...
Нет, это ловкий трюк — избежать седин.
Ангел-хранитель, оставшийся сиротой,
Чем он занят теперь? Что ж он, совсем один?

— Помнишь, как кровь, гудя,
сердце бросает в бег,
помнишь, она в пути
бьётся, светла?
— Жалко мне вас, трудяг,
верных, неверных — всех.
Мне всё равно, прости.
Я умерла.

Старость придёт ко мне, ты молода всегда,
минус один: тебя попросту нет.
В памяти берегу след твоего следа,
воздух, дрожа, хранит слепок, портрет.

Большему всех пространств, сердцу приказ отдам —
сжаться и прекратить поиск вовне.
Фактам слепым назло, наперекор годам
ты не в могиле, нет: глубже — во мне.

* * *

Живи-ка по-людски. Молись своим богам,
не ставь перед другим, кичась, вопрос вопросов:
мол, так тебя растак, ты ль это, Вальсингам?.. —
оставь его ему, а сам останься с носом.

Не знает телефон, по ком ему звонить,
не знает даже стул, по ком он разломался,
судьба сама сплетёт прилипчивую нить,
исполнит ход конём в обманном ритме вальса.

И ты, хоть целый ком уловов наскребя,
не переждёшь в углу витые повороты,
а где-то по пути вдруг спросят и тебя:
«Ты ль это, Вальсингам? А если нет, то кто ты?»

Светлана ПОПОВА. Органика

* * *

Я оживаю от зимы.
Молчанье-снег уходит в корни,
живительною силой кормит
слова, растения и сны.

Я чувствую, как ходит сок
от почвы до набухших почек
и жизнью разразиться хочет
на каждой веточке листок.

Я многорука и при том
многоязыка, многословна...
Я из древесной родословной
заветный вывожу виток.

Внутри, тревогам вопреки, —
рисунок мánдалы годичной.
Сплетаю мысли в гнёзда птичьи,
чтоб в них растить свои стихи.

ОРГАНИКА

Врастает позвоночником
мне папоротник в спину,

бугристым одиночеством
с тоской наполовину.

Росою полуночную
лежу в прожилках вайи*
и вижу мир воочию,
от ветра оживая.

Сползу, дрожа, по черешу
в колючесть палой хвои,
но лес обнимет бережно
коричневой листвою.

Где корни волокнистые
забвенно жизнь объемлют,
я из любви неистойвой
впитаюсь каплей в землю.

**Вайя – лист папоротника.*

* * *

М. Цветаевой

Тонкою тропкою четырёхстопною
дактиля, ямба, хоря –
строфы усталые, сбитые стоптаны.
Почерк верёвкой на шее.

Нашей Елабугой, августом астровым
не зарифмовано тело
с глиной могильною. Строками страстными
птицы в лазурь полетели.

Те ли ограда с надгробьем поставлены?
Там ли? Бессмысленны споры.
Голос, надолго забвением сдвленный,
мчится грохочущим скорым.

Скоро тире бесконечными шпалами
скрепят отчаянно туже
мысли. Стихи рдеют листьями палыми.
Я их в себе обнаружу.

* * *

Осень можно вычислить по запаху
листьев, переполнившихся солнцем.
В клетке веток ветер птицей бьётся.

Ищет дождь потерянную запонку.

Высыпались галки в небо бледное
горькою трухой из табакерки.
И в трюмо разлитых луж померкли
все тона сюжетов гобеленовых.

Я гадаю, сколько ещё выдержит —
не уступит ржавчине рябина.
Я сама ольха наполовину —
капли со щеки запястьем вытерши —

осенью такая же зелёная.
Мне сентябрь указывать не вправе!
Эту радость рано не отравит,
не прикроет пёстрыми пелёнками.

Я ещё весёлая и звонкая.
Снова влюблена в тебя и в небо.
В третий раз закидываю невод —
к тучам с перистыми перепонками.

* * *

Весной пожухлая трава
мешает прорасти зелёной,
и заново в лазурь влюблённой
она окажется едва ль.

Ерошится сухой бурьян
седыми космами старухи.
Безжизненно поникли руки.
клонюсь, как после бури, я.

Дырявой лодкой жизнь гниёт,
и время мимо в омут мчится.
Скрипят уключины-ключицы,
заснувшие в тенях тенёт.

Холодной захлебнусь весной,
воскресным воздухом тоскливым.
А в горле — горечь терносливы
и терпкий привкус листвяной.

Пусть кошки на душе скребут —
приход весны перезимую.
В дремоту сумрачно-немую
дни граблями меня сгребут.

Уже столетия подряд

стоят на месте сада стены.
И в книге жизни на листе мы –
прожилки выцветшая рябь...

* * *

*слова растут в космическом лесу
пока задумчив стрелочник молчащий*
Инга Кузнецова

Мне нужно вырастить слова
из влажных и набухших зёрен звука.
Они случайно мне упали в руку.
А может, выпали из рукава.

Покуда жизнь-луна не убыла,
и Млечный Путь не стал глотком кумыса,
раскидываю руки-коромысло
над кромкою зимы, где смерть бела.

Ей вопреки – рашу слова.
И жду, когда с проталиной весенней,
переполняясь тайной воскресенья,
проснётся сок древесного ствола.

Я чувствую: наперекор всему
проклюнутся пронзительной тоскою
ростки-слова, и я ладонь раскрою.
А губы крепко-накрепко сожму.

Елена ЛИТИНСКАЯ. Под созвездием ковида

*У судьбы нет причин без причины сводить
посторонних.*

Коко Шанель

Ольга где-то читала, что на долю каждого поколения непременно приходится период тяжких невзгод. *Это может быть война, голод, неурожай, геноцид, страшное землетрясение, наводнение, эпидемия...* А на долю моего поколения, – думала она, – *пришёл вот этот загадочный ковид, пандемия, возникшая в китайской лаборатории и выпущенная из пробирки со злым, воистину сатанинским, умыслом (или просто ускользнувшая) на волю. Кто знает! Возможно, теперь уже никто до истины не докопается. Вот уже второй год эта пандемия кружит по миру, то затихая, то вновь разгораясь. Физически здоровые люди переносят эту напасть, как правило, легко, выживают, и продолжают жить, как ни в чём не бывало. Слабые люди, с багажом других хронических заболеваний, долго болеют, испытывают серьёзные осложнения, а некоторые даже уходят в мир иной. Как, например, Ольгин сосед сверху – сердечник, лёгочник и, вообще, насквозь больной человек. Ковид его попросту доконал.*

Нет, конечно, в собственной квартире, под защитой своих стен, она жила обычной, доковидной жизнью, читала и по несколько раз перечитывала старые, любимые книги (ни в коем случае не библиотечные, которые могли принести в дом заразу), смотрела телевизор и слушала радио. Общение с друзьями и родными происходило исключительно посредством компьютера и телефона. Ольга признавалась себе, что она стала забывать лица друзей, родных и даже соседей по дому. Какие там лица! Сплошные маски, как на мрачном бале-маскараде.

Так тянулись дни, недели, месяцы... *Неужели они перетекут в годы?* – с тоской спрашивала себя женщина. – *А ведь эти годы должны быть лучшим временем моего заката. Я всю жизнь поддерживала себя в хорошей форме, занималась спортом, делала косметические процедуры, чтобы не выглядеть старше своих лет. А теперь, под маской, никто не видит, покрыто моё лицо сетью морщин или нет. Бойфренда у меня нет и при нынешнем полукарантинном положении не предвидится. Дочери моей всё равно, как я выгляжу, внукам – тем более. (Бабушка есть бабушка. Ей положено быть старой.) Да и мне, честно говоря, теперь тоже по барабану. Лишь бы не заболеть.*

Некоторые Ольгины друзья и родственники уже сделали прививку и задышали более или менее свободно. Хотя медики предупреждали, что все равно надо продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и по-прежнему предпринимать другие превентивные меры, так как вроде бы прививка не полностью защищает от ковида, а только может облегчить симптомы, если заболеешь.

Ольга пока ещё не решила, будет ли делать прививку, потому что боялась побочных явлений.

Вот сделаю прививку, ковидом не заболею, но зато через несколько лет от этой самой прививки впаду в деменцию или заболею раком, – вполне серьёзно рассуждала она. – Нет, я ещё подожду с этой загадочной вакциной... Может, изобретут что-нибудь более понятное, надёжное и безопасное.

* * * *

Стояла осень, конец сентября, самое приятное время года в Нью-Йорке, когда уже не так жарко и ещё не наступила промозгло-дождливая, ветреная зима. На одной из прогулок Ольга обратила внимание на мужчину вроде бы средних лет (хотя под маской

и очками трудно было определить его возраст), который также ходил быстрым шагом по утрам и по тому же маршруту, что она. Невозможно было не обратить на него внимание. Он, что называется, примелькался. Средний рост, прямая спина, не толстый, спортивный костюм аккуратный, не выцветший ... бейсболка, маска и тёмные очки в пол-лица. Как говорится, нынешний джентльменский набор. Они шли быстрым шагом по Оушен Парквей от Авеню W до Брайтона и обратно на расстоянии метра друг от друга, что называется бок о бок. Ольга не отставала. Так получалось, что они приноровились выходить из дому в одно и то же время – в восемь утра, «выныривали» из боковых улиц и пересекались где-то между авеню W и авеню X. Сначала каждый делал вид, что не замечает другого, потом, когда это не узнавание стало попросту смешным и даже нарочито невежливым, начали при встрече кивать друг другу и продолжали сей... ковидно-масочный моцион в молчании.

Ольга вскоре заметила, что, если она запаздывала, загадочный незнакомец уже поджидал её на перекрёстке с Оушен Парквей и Авеню X. Немая сцена приветствий повторялась. Они кивали друг другу, шли в сторону океана до Брайтона, подходили к воде, несколько минут глазели на океан и одновременно поворачивали обратно. Так продолжалось где-то с неделю, пока, наконец, мужчина перед началом моциона отважился первым подать голос:

– Доброе утро, мадам! Пожалуй, пришло время представиться. Надеюсь, я не покажусь вам назойливым? Меня зовут Олег. А вас как зовут, если не секрет?

– А меня Ольга, – ответила женщина и засмеялась. – Действительно, не забавно ли? Мы живём в одном районе, выходим из дому в одно и то же время, выбрали один и тот же маршрут, да ещё имена наши совпадают. Что это? Случайность или предопределённость?

– Да, действительно, слишком много совпадений. В этом что-то есть... Какая-то загадка, которую нам с вами предстоит разгадать, – если, конечно, вам любопытно узнать, что за всеми этими совпадениями кроется, – сказал Олег. Ольгин колокольчатый смех пробудил в нем смутное воспоминание. Когда-то давно, в молодости, ещё в московскую бытность, похожим колокольчатым смехом смеялась одна девушка, которая ему нравилась. Потом пути их разошлись, и Олег забыл о ней.

– Ну что ж, подумаю на досуге о странном совпадении, – улыбнулась под маской Ольга. – А пока вперёд, на Брайтон!

Они совершали этот моцион в любую погоду, невзирая на ветер и мелкий дождь. Их задерживали дома разве что ливень и ураган. По дороге хранили молчание, так как маски и быстрый шаг при разговоре вызывали одышку. Однако во время остановки у кромки океана они обычно кратко беседовали, задавая привычные эмигрантские вопросы и отвечая на них. Олег начал стандартный эмигрантский опросник первым.

– Ольга, вы давно в Америке?

– Очень давно, приехала с семьёй: с малолетней дочерью и мужем в 1979 году. А вы?

– А я – в 1980, тоже с семьёй... Так что у нас с вами приличный эмигрантский стаж, если можно так сказать. Мы – эмигранты-ветераны.

– Это точно. Эмигранты-ветераны. Звучит прямо-таки внушительно. Но лучше бы стаж был меньше. Грустно! Большая часть жизни промелькнула. И сейчас этот ужасный ковид, если не убивает, то калечит и, во всяком случае, значительно ограничивает жизненные возможности. А сколько её, той жизни, осталось, одному Богу известно, – с грустинкой добавила Ольга.

– Вы верите в Бога? Или просто так вставили слово «Бог» в виде устойчивого выражения, как фигуру речи? – полюбопытствовал Олег.

– Да, я верю в единого Бога, Творца и вершителя судеб.

– О, какой высокий штиль! Да вы – поэт. Литератор – уж точно. А я, если честно, в Союзе был атеистом. Впрочем, как и многие там... в те годы, но здесь изменился. Стал верить в судьбу и предопределённость. Вот ведь,.. – он хотел что-то сказать, но запнулся или намеренно замолчал.

– А я думаю, что человеческая судьба – это и есть проявление Божьей воли, – сказала Ольга и добавила:

– Ой, что-то небо серьёзно хмурится, как бы не хлынул ливень. Сегодня предсказывали проливные дожди, а к вечеру шторм. А нам ведь ещё обратно идти и довольно долго. Всё! Разворачиваемся – и быстро назад!

– Слушаюсь и повинуюсь! – усмехнулся Олег и подумал: *женщина начинает командовать. Это хорошо или плохо? Хорошо, что уже, вроде, меня своим приятелем считает. Плохо, что так быстро начала мной руководить. Впрочем, она права. Надо спешить, иначе промокнем до нитки.*

Они развернулись и ускоренным шагом пошли в сторону авеню W. Еле успели дойти до своих домов, как начался ливень.

* * * *

Два дня бушевала стихия со всей разрушительной силой: ветер дул со скоростью 50 миль в час, стена воды обрушивалась на город, гнулись и ломались деревья, обрывая электрические провода и вызывая – перебои с электричеством.

А через два дня, когда погода наладилась, Олег почему-то не пришёл на прогулку к назначенному часу. Ольга, привыкшая к их, как она про себя называла, «парному катанию», напрасно прождала его где-то минут пятнадцать на углу авеню X и поняла, что он сегодня вообще не придёт. Она пошла, как обычно, в сторону Брайтона, теперь одна, всё же раз за разом оглядываясь назад в надежде увидеть Олега. Но он так и не появился.

Разные мысли одолевали Ольгу. *Почему он не пришёл? Ему надоели эти прогулки с ней? Он выбрал другой маршрут? Его жена случайно узнала об их уличном знакомстве и прогулках и запретила ему видаться с Ольгой? Жена? Но ведь Ольга ничего о нём не знала, женат ли он до сих пор или разведён, есть ли у него дети, чем он занимается, в каком доме живёт? Как его фамилия, сколько ему лет? Она ровным счётом ничего о нём не знала. Впрочем, так же, как он ничего о ней не знал, кроме того, что она приехала с семьёй в Америку в 1979 году. Это было просто уличное знакомство, никого ни к чему не обязывающее. Они не обменялись телефонами. Обычно мужчина при знакомстве с женщиной, которая ему приглянулась, просит у неё номер телефона. Он не попросил. Не успел... или ему это было не нужно. Видимо, он вовсе и не собирался ей звонить. Ну, и Бог с ним! Она даже лица его не знает и без маски не узнает. Может, он страшный, как Фантомас. Но голос приятный, и речь грамотная. Московский выговор. Этого у него не отнимешь. Всё! Забыла. Был некий Олег, да сплыл. Ещё один Олег...*

На этом Ольга заставила себя поставить точку на отыскивания причин исчезновения некоего случайно встреченного Олега, который ей, в сущности, никто: ни приятель, ни друг, ни родственник, ни возлюбленный... так, промелькнувший попутчик.

* * * *

Олег не появился ни на следующий день, ни через неделю, ни через две... Вообще, испарился. *Да был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?* – вспомнила Ольга известную цитату из «Клима Самгина» и перестала думать об Олеге.

Наступил декабрь, обычно радостно-суетливый, когда все покупают подарки на Хануку, Рождество и к Новому году. Но ковид не утихал, и настроение у Ольги (да и у

всех вокруг) было далеко не праздничным. Прежде дочь с семьей приезжала к Ольге на Новый Год, или Ольга отправлялась к ним в штат Индиану. Но в этом году никто на праздники ни к кому не полетел, так как многие рейсы были отменены, кроме того, полёты были сопряжены с двухнедельным карантином. К тому же этот чёртов ковид можно было легко подцепить в самолёте. Словом, Ольга осталась на Новый год дома куковать наедине со своей наряженной искусственной ёлочкой и телевизором.

В январе, как это часто случается в Нью-Йорке, вдруг наступило временное потепление. Где-то 60 градусов по Фаренгейту, яркое солнце, голубое небо, ни облачка, лёгкий бриз. Ольга, как всегда, вышла на утреннюю прогулку, только в необычное время, в десять часов, так как ей захотелось наконец выспаться. И неожиданно на углу Ave W увидела знакомую мужскую фигуру – в спортивном костюме, бейсболке, маске и тёмных очках. Мужчина подошёл к ней и спросил:

– Вы меня не узнаете? Не удивительно! Вы меня видели только в маске. Как же вы меня можете узнать? А я вас сразу узнал. Вы – такая, такая... особенная, узнаваемая даже под маской. У вас удивительно лёгкая походка. И костюм ваш я помню, и вязаную шапочку. Я – Олег. Помните? Мы с вами вместе, так сказать, совершали утренние прогулки. Я два месяца отсутствовал.

– Я вас прекрасно помню, и даже довольно долго размышляла, почему вы больше не выходите на Оушен Парквей и что с вами приключилось.

– А приключилась со мной модная нынче, проклятая болезнь. Подхватил ковид, да ещё в сильной форме. Попал, мягко выражаясь, не в лучшую городскую больницу, в Кони Айленд госпиталь. Температура зашкаливала. Дышал с трудом, кашлял, хрипел... Посадили на вентилятор и капельницу. Еле-еле подлечили, не вылечили, а просто сбили температуру, восстановили дыхание, накачали антибиотиком и выпихнули домой, чтобы освободил койку для нового больного. Я там такого в госпитале насмотрелся! Настоящий фильм ужасов. Медики снуют туда-сюда в масках и ковидно-защитных костюмах, как космонавты или пришельцы из других миров. Сегодня рядом с тобой лежит живой человек, разговаривает, правда, с трудом, дышит, а завтра он уже труп. Приходят санитары, накрывают его простыней и вывозят на каталке в морг. Потом на его место привозят другого бедолагу. И повторяется та же история. Я, когда там лежал, всё думал, что вот так же и меня в один совсем не прекрасный день накроют простыней и увезут в морг, потом завернут в мешок и... не знаю, отдадут ли родственникам тело для захоронения на кладбище или бросят в общую могилу, засыпав все наши тела хлоркой. – Когда Олег рассказывал свою историю, у него дрожали руки и срывался голос. – Помните, как хоронили Моцарта в общей яме-могиле? Смотрели фильм?

– Да, помню... смотрела. Боже мой! – Ольга расчувствовалась. У неё даже слёзы набежали на глаза. Хорошо, что этого не видно было под темными очками. – Представляю, как вам было там в больнице тяжело, не только плохо физически... от болезни, но и морально. Морально жутко оттого, что завтра ты можешь стать просто телом, не пригодным даже для достойных похорон. Но мне кажется, тут вы ошибаетесь. Тела всё же выдают родственникам, если таковые и имеются. И хоронят умерших от ковида по-человечески, каждого в отдельной могиле. Ну, или кремируют. Это зависит от завещания покойного. Словом, как решат его родственники, если нет завещания.

– Конечно, вы правы. Я тогда сгущал краски. И меня ведь можно понять... Но судьба (или, как вы верите, Бог) была на моей стороне. Умереть мне не дали, как я уже сказал, подлечили и выписали. Потом дома я целый месяц приходил в себя. Живу я один. Ухаживать за мной было некому. Жена от меня давно ушла, уехала в Европу... с одним гм... весьма перспективным мужчиной, бизнесменом. А я – что? – обычный инженер, работающий в муниципалитете. Сын мой занят своей семьёй, да и боялся он от меня заразиться и потом перезаразить всех своих. В общем, я один выкарабкивался. Сейчас

постепенно обретаю прежнюю форму. Хочу думать, что получится. Вот такие дела... А как вы? Не переболели?

– Нет, пока ещё здорова. Сегодня здорова. Что будет завтра, не знаю. Я так вас понимаю и сопереживаю. Сколько вам пришлось пережить, перевидать, перечувствовать! Первое время, когда вы всё не приходили, я каждый день думала-гадала, куда вы подевались. А оно вот что оказалось. Ковид! Ну конечно! Как это я сразу не догадалась? Да, я пока ещё не заболела, хотя в нашем доме многие переболели и даже некоторых уже нет... Когда думаю об ушедших, самой жить не хочется. Может, сменим тему? Так можно рехнуться. Ну что, идём по прежнему маршруту? Будем жить, пока живы.

– Идём. Только вы, уж пожалуйста, не очень торопитесь, принимая во внимание тот факт, что я ещё, к сожалению, далеко не в спортивной форме. Ладно?

– Хорошо! Сбавим темп. Да и спешить-то нам, в общем, некуда.

Они теперь уже медленно, побрели к океану. На Бордвоке было мало людей. Видимо, народ не ожидал, что погода так разгуляется. Ольга и Олег подошли к кромке. Успокоенный, переливающийся на солнце всеми оттенками голубого и синего – от светло-лазурного до чернильно-синего – океан лениво шевелился, слегка волнуясь, и выбрасывал на песок белоснежные кружева пены, не замутнённые водорослями. Часы показывали одиннадцать. Ресторан *Татьяна* был открыт для «бранча» только для посетителей, которые соглашались сидеть на улице.

– А не посидеть ли нам за столиком на улице у ресторана *Татьяна*? Я не успел сегодня позавтракать и проголодался. Что скажете, Ольга? Я вас приглашаю.

– А я вообще никогда не завтракаю. Только выпиваю чашку кофе и сразу на улицу. Так что я совсем даже не против перекусить.

– Вот и прекрасно!

Они сели за столик. Подошёл официант, несколько удивлённый, что эти двое в спортивных костюмах забрели в ресторан в такую рань. В это ковидное время сюда, в *Татьяну*, зимой, даже к вечеру, заходили редкие посетители. Жизнь в городе замерла. Он ещё не умер, но как бы погрузился в летаргический сон. Все попрятались по своим нормам.

Официант принёс меню. Олег заказал пышный омлет с грибами и кофе с пирожным *Наполеон*. Ну никак не мог себе отказать в сладеньком. Уж больно несладкой была его жизнь в последнее время. Ольга, соблюдая рыбно-овощную диету, заказала салат из помидоров и огурцов, запеченного лосося и чай без сахара и без пирожного.

Официант для затравки принёс, как принято в русских ресторанах, бутылку минералки, тарелочку с нарезанным чёрным и белым хлебом и сливочное масло в разовых упаковках. Можно было приступить к еде. Наступило время снятия масок, которого в тайне Ольга и Олег побаивались. Страшились увидеть не того и не ту, которых они себе нафантазировали. Но в маске есть невозможно. Пришлось снять...

– Мне кажется, что я вас знаю, что мы прежде где-то пересекались, – сказал Олег, пристально всматриваясь в черты Ольгиного лица. Я не помню, где и когда, но я точно вас знаю. Вы, конечно, изменились. Наверное, много лет прошло с тех пор, как мы были знакомы, но смех ваш, залиvisto колокольчатый, я по сей день помню. Такой нежный и в то же время заразительный смех не забывается.

– И я вас, кажется, знаю. Нет, поймите меня правильно, вы, конечно, тоже изменились, возраст есть возраст. Но всё равно, вас можно узнать. И я даже помню, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились. Это было, думаю, лет сорок назад, – сказала Ольга и улыбнулась. Улыбка у неё была удивительная.

– Ну же, вспоминайте! Москва, встреча, кажется, 1975-го Нового года у ваших друзей в студенческом общежитии МГУ. Вы тогда, что называется, положили на меня глаз и всё время со мной танцевали, не уступая другим парням.

– Не уступал в танце. И даже хотел было Вас поцеловать, но Вы отвернулись. Понимаю, я был пьян. А целоваться с пьяным не очень-то приятно..., и мы так и просидели до шести часов утра за разговорами. А потом вы попрощались и собрались уходить. Я собрался вас проводить, но вы сказали, что вам такой пьяный провожатый не нужен, и просто ушли. А я бухнулся в кровать и проспал до 12 часов дня. Господи, так вы та самая Ольга строгих правил, в которую я тогда по уши влюбился?

– По уши влюбился, как вы говорите, но так потом ни разу и не появился и даже номера телефона не попросил. Почему? Видно, не очень сильно влюбился. Или у вас, как говорится, был запасной вариант...

– Да, у меня была девушка, обязательства перед которой заставили меня вскоре на ней жениться. В ту Новогоднюю ночь она была больна и не смогла прийти на нашу вечеринку.

– Так вот вы какой! Ненадёжный, распущенный. Одна девушка заболела – встречу Новый год с другой и закадрю другую.

– Это всё молодость, глупость и самонадеянность. Поверьте, я потом горько пожалел, что не взял ваш телефон, не назначил свидание и... женился на другой.

– Горько пожалел! Ого! Какие высокие слова раскаяния! Только не надо преувеличивать. Всё равно не поверю. Это было так давно, в другой жизни. Проехали, как говорится. А вот и мой салат принесли и рыбу. Скоро и Ваш омлет подьедет.

– Бог с ним, с этим омлетом! Приедет. Куда он денется! Я так рад, что снова вас встретил! Может, вы дадите мне ещё один шанс? Я очень надеюсь. Ведь не зря же мы с вами через столько лет снова встретились?

– Может, и не зря. Поживём – увидим. А вот и ваш омлет прикатил. Да какой красивый, пышный! Уплетайте, пока он не остыл.

– Омлет не остынет, и я тоже, – заключил Олег, и они с Ольгой оба засмеялись его шутке.

– Погода сегодня уж больно хороша! Тишина. Безлюдье. Это неожиданно тёплое январское солнце и океан, переливающийся всеми оттенками голубизны, создают прямо сказочное настроение, и мне хотелось бы верить, что мы не зря с вами снова встретились.

– Не зря! Ведь мы ещё не такие старые. Ещё не поздно, да?

Ольга в ответ снова улыбнулась.

* * * *

Они ещё какое-то время встречались и, вроде, нашлись общие темы для разговоров и даже общие знакомые. Нью-йоркский русско-эмигрантский круг интеллигенции не так уж и широк. Ольга Олегу всё больше нравилась, особенно когда она снимала тёмные очки и маску. А делала она это теперь постоянно. Ведь Олег уже переболел ковидом и, даже если она является носителем вируса, для него это не опасно.

Он видел её улыбку и ясный взгляд карих глаз с рыжими крапинками на радужной оболочке. Такие глаза – редкость. *Олег спрашивал себя, как это он мог тогда жениться на другой? Где были его глаза и мозги?* Ольга мало говорила, всё больше слушала разные истории из Олеговой жизни. Он много путешествовал по свету, много повидал. Было о чём рассказать.

Ольга, казалось, забыла старую обиду на то, что Олег тогда в молодости резко исчез. А ведь мог бы узнать у друзей, как её найти, если бы захотел. Она слушала и искоса поглядывала на Олега. Не красив, но черты лица приятные, губы не тонкие, обрамленные седыми усами и аккуратной бородкой. Олег снял бейсболку, обнажив всё

ещё густые чёрные с проседью волосы. Он чем-то напоминал ей покойного мужа. Это был Ольгин любимый типаж.

Они уже не ходили на расстоянии друг от друга. Шли рядом, но не под руку и, конечно же, не за ручку, как подростки. Олегу так хотелось обнять её за плечи, но она постоянно увиливала, не спешила идти на «сближение», хотя чувствовала, что прикосновения Олега ей будут приятны. Словом, их роман медленно, но всё же развивался. Ольга, было, уже даже решила пригласить Олега на обед, так как умела хорошо готовить и помнила добрую старую поговорку, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но потом случилось непредвиденное...

Она не пришла к условленному часу. Один день не пришла, другой... Олег занервничал, расстроился: *заболела ковидом? Или чем-то еще? Не хочет меня видеть? Я её чем-то обидел? Что-то не то сказал? У неё появился другой ухажёр? Она просто решила мной поиграть, отомстить за то, что я тогда, в молодости не продолжил с ней роман? Сначала завлечь, а потом бросить? Могла бы и позвонить! Да, но мы так и не обменялись телефонами. Какой же я осёл! Снова не попросил телефончик.*

Олег укорял себя за глупость, каждое утро прохаживался около Ольгиного дома в надежде, что она появится, но она не появлялась, а он ни номера квартиры, ни фамилии Ольги он не знал. Можно было бы спросить кого-то из жильцов. *А как такое спросишь? Вы не знаете, в какой квартире живёт некая одинокая женщина по имени Ольга, симпатичная шатенка средних лет? Спросишь – сочтут за наглеца, а то и за потенциального грабителя. Могут и полицию вызвать. Потом поди, доказывай, что ты порядочный человек.* – Так и не спросил.

А Ольга тем временем находилась в штате Индиана по срочному вызову дочери. Дочь с мужем заболели ковидом, и оба оказались в больнице. Дома осталось двое маленьких детей пяти и семи лет. Пока за ними присматривали соседи, но срочно требовался кто-то из родственников. А единственной родственницей была она, Ольга, родная бабушка. Она вылетела из Нью-Йорка в Индианаполис пулей, первым же рейсом и, естественно, не смогла предупредить об этом Олега, хотя думала о нём и огорчилась, что не знает номера его телефона. *Как же глупо, прямо по-детски, всё получилось! Знать, не судьба нам с ним. Ведь уже третий раз теряем связь друг с другом,* – сокрушалась она.

* * * *

Прошло несколько месяцев. Наступил апрель. Самое начало весны, когда распускаются почки и нежными бело-розовыми всполохами первоцвета радуют глаз деревья. Солнце светит ярко, по-летнему, но ещё не жарит, и хочется проводить больше времени на воздухе. Ковид пока не заглох, но затаился и в любой день мог вспыхнуть с новой силой. Бруклинцы, казалось, на время забыли об этой напасти и высыпали на улицы семьями, на ходу всё же натягивая маски.

Солнце уже спустилось с зенита и клонилось к западу. Было пять часов пополудни. Олег сидел в одиночестве за столиком на улице у ресторана *Татьяна* и, устремив взгляд на океан, ожидал свой традиционный омлет с грибами. Неожиданно кто-то сзади тронул его за плечо. Олег обернулся и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Ольга, с маской, приспущенной до шеи, не в спортивном костюме и не в кроссовках, а в летнем платье, босоножках и широкополой соломенной шляпе.

– Ну, здравствуй... те, Олег! Я предполагала, что когда-нибудь увижу вас именно здесь, – сказала она, сняла тёмные очки и улыбнулась. Как же она была хороша... той предзакатной, неяркой, но завораживающей красотой!

– Как же я рад вас видеть, Ольга! Пожалуйста, больше не исчезайте! И... дайте мне, наконец, номер вашего телефона. Обещаю не надоедать вам звонками.

– Записывайте, – сказала Ольга. – И мне не мешало бы иметь ваш номер... так, на всякий случай. – И оба рассмеялись.

Валериан МАРКАРОВ. Неношеное платье

Время от времени старуха покашливала, и влажная мокрота протяжно хрипела у неё в бронхах, превращаясь в сладковатый слизистый комочек во рту. Она сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то подрагивающие кончики губ, которые, казалось, вот-вот коснутся выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким, певучим причитаниям: «Ваня, милый ты мой, кровинушка! На кого ж ты меня покинул, ненаглядный?! За что наказал? Теперь одна... Как же жить-то теперь?», и тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно...

Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл: уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящееся кадило и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку и народ всё шёл и шёл: как-никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу, другие, чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал, накрытый белой простынёй, с ликом Спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насупленными бровями: он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окропленную святой водой холодную некрашеную домовину, сколоченную из свежеструганных сосновых досок.

Сельские бабы, только ступив в дом, принимались голосить с самого порога. Мужики поначалу копошились в снях, топали валенками, сбивая с них снег, затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание, жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым, колючим еловым лапником и, оборачиваясь, сочувствие вдове выражали. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом удручённо головами в косыночках мотали и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу, дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы: всё шевелила губами немые причитания да теребила платок.

Глядь, в дом вбежал полоумный Васька-заморыш, ногами к гробу засеменял и раз — что-то сунул в ноги покойному.

— Эй, Васька, ты чё учудил, дуралей? — хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот примостился рядом.

— Да Васька чё? Васька всё село обежал, нигде цветов нету. Непогодица. Все Ваську жуют, а Васька Ивану шоколадку...

В какой-то момент ей показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Зашлась родимая затыжным кашлем, закрыв рот рукавом и так давясь горлом, будто её рвало.

— Худо мне, Клава, — произнесла она, едва успокоившись.

— Дак это с непривычки, Люда, — закивала соседка, махнув рукой. — Уж на что я привычная — ведь мужа, брата и сына схоронить успела — и то... Вот я тебе ща водицы подам, даст Бог полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке, поди, кукиш кажет. И глаза все вконец выплакала, горемычная... Ты того, ступай, поешь малость, а мне идти надоть, скотинка некормленная ждёт.

Права была Клавдия — Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги и подкосились, ничком на пол рухнула и забилась, завyla как собака. Клавка,

которая прибежала на этот вой, смотрела на неё и, поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки кряду: пока покойник в доме, надобно держать всенощную. Иван работал дежурным электромонтёром, спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни — ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может: захочет — свет зажжёт, захочет — погасит, короткое замыкание может удлинить, а длинное — укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна, без детей, без мужа. Дом старый, от бабки остался. В нём то утюг заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят, а то и проводка дотла сгорит. Вот Иван по доброте душевной и пособляет ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, безбашенный, так его на месте как шандарахнуло. На смерть! В морге сказали, что под градусом был да лыка не вязал, и умер без мучений — моргнуть не успел.

На приличные похороны денег не хватало. Но сельчане выручили, всячески пособляли Люде устроить мужу подобающее прощание, да такое, чтоб никто не осудил. И что б она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драили мылом полы, окна и двери, вытирали от пыли образа, завешивали сервант да зеркала. Лавочек вот натаскали — собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего: все хорошо помнили, что сор при покойнике вымести — всех из дому вынести. А мужики вот с машиной помогли, доставили Ивана из больничного морга, за гробом съездили, недорого, правда, но очень добротным, священника местного пригласили. Свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтобы душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил.

Стыд да срам, что родной сын приехать не смог — дела у него да заботы. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе с голым задом останешься! Всё у него шито-крыто: с кем живёт и как, что ест и пьёт, где ляжку тянет — ничего ей толком не знамо. Безалаберный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи, образумь, ты его! Вернулся бы в село. Нашёл бы себе девку здоровую, работающую. Детишек бы на свет Божий нарожали. Жили бы как люди... Хорошо хоть депешу прислал, короткую, в три слова: «соболезную похорони оплачу»...

На освободившееся Клавкино место тихонько подседа Алевтина. Обняла, руку сжала и что-то шепнула на ухо, да только Люда не разобрала слов, сидела с каменным лицом. А та опять за своё, что-то ей там про Ивана на тихой ноте бубнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы.

Не убивайся ты так, подруга, услышала она. Не стоит он того! Всю жизнь гулял от тебя, ни одну юбку мимо не пропускал. Вот те крест святой, не вру. Чего глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался, жил с нею блудно. Вальку-то Раскладушку всё знают. Охомутила она его — кого хошь спроси! А в тот день благоверный твой квасил у неё во всю — дым коромыслом стоял. Я ведь там близёхонько, по-соседству. Напились до поросячьего визгу. Ванька твой орать стал, что изменяет ему Валька. Да оно, небось, так и было. Валька, как-никак, баба видная: краснощёкая, стройная, грудастая. Вон воротилась из города — накувыркалась там, поди, с лихвой. Рыжие патлы свои распустила, на помадилась, хоть стой — хоть падай, огляделась, заметила себе мужика крепкого, работающего, раз в гости позвала — по хозяйству подсобить, другой, третий, да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю! Хоть и ведаю, что негоже поминать покойного дурным словом — душа его на том свете умается, но как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану, правду-матку всю выложу, как на ладонке...

Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударила в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а всё перед глазами, как в сильный ливень, поплыло. Верно в народе говорят: жена об изменах мужа узнает в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, вскипело... Получается, все знали! Да молчали, грех Ванькин покрывали...

Будь на твоём месте, продолжала Алевтина, извела б её на корню, змею подколенную, тварь поганую, зелья б подсыпала иль порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчерась надумала: покласть бы в Иванину домовину вещицу её какую, трусики разноцветные али лифчик — всякий раз на бельевой верёвке качаются туды-сюды, мужиков закликают. Покласть — и всего-то делов. Ахнуть не успеешь — вослед за супружником твоим покандекает...

За окнами мело не на шутку. Ветер с силой, размашисто кидал снежные хлопья в стекла, в белой пелене расплывались, терялись силуэты изб и деревьев. Снег, едва долетев до земли, начинал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана, дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего...

Зловещую тишину нарушило лёгкое шуршание ткани: упало покрывало с зеркала, обнажив леденящую душу картину. Что это — явь иль сон? В горнице гроб стоит, входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопочут, утешают и кручинятся. Но за спиной её, пустозвонки, всё судачат да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит!

Знали все! И молчали. А теперь шастают туда-сюда, цокотухи, лишь бы кости Ванькины перемыть, и, может статься, кое-кто в душе даже радуется беде её.

Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась дрожащим огоньком лампадки, пытаясь заполнить звенящую пустоту отчаянья и злости, пробиравшую Люду до самого сердца...

Ясно, во всех красках, представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой, стакан за стаканом, а потом растрепанная, шалая, в сползшей с плеча кофте, устроилась подле него, телка захмелевшего, стала будить-тормозить пунцовыми губками: «Да не спи ты, соколик! Полюби меня сильно...». Иван, дурья башка, что-то мычал со сна, отталкивал ее, а Валька кофточку скинула, и сисечки свои напоказ — остренькие, как у её козочки Зорьки, в разные стороны глядящие тугими сосками...

Вздохнула прерывисто да на мужа глянула — лежит, не шевелится, непутёвый. Вздрогнула, вспомнив про его частые отлучки: охоту на три дня и три ночи, рыбалку на вечернюю зорьку — говорил, перед закатом лучше клюет, — а то и «халтурку» на стороне, когда неделями ждала — не могла дожждаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный — ты и не пикни, не суй свой нос в посторонние дела, щи вари да знай место, женщина. А чуть что не так, вставал на дыбы, посылал крепко в тьмутаракань, так то и ладно, а то мог ведь и промеж глаз. Ох, и слепая ж была! Дура!

Лицо её исказила судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали пред ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить. Вот здесь ей восемнадцать годков. Хороша! Приударил за ней Иван, гармонист чубастый, первый парень на селе, девок щелчком пальца подзывал! Всё твердил: «Гуляй ты, Людка, пока молода да красива. Другие ж девки гуляют. Чего тебе-то порожем ходить? Неужто хуже других?». Иван завидным женихом считался, зарплата для села большая и служебным грузовиком пользовался, как личным. Начальство позволяло держать машину в заулке возле дома, вот и катал он девчат, а те визжали от радости. А как-то

однажды балясами её заморочил, заташил на сеновал, подальше от людских глаз, где сладко пахли недавно скошенные травы. Тьма там стояла — глаз выколи, только слабо светились щели в полу да кое-где сквозь дырявую кровлю пятнышки лунного света пробивались. Не обхаживал, не задабривал, не упрасивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди. Сдавил жадно, до боли. Кинул на ворох сухой травы. Прижал собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась: скорей бы только всё кончилось. А он потом всю жизнь попрекал да и унижал, что не честной за него пошла, не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы...

До того жадным оказался — всяку копейку считал, ничем не делился, а даст кому рубль, так потом два требует. Да и жуть каким ревнучим был! Не позволил ей работу продолжить в больничке местной — где фельдшером трудилась, даром что ли техникум медицинский закончила. И с любым она общий язык найти умела — с малым и старым. Многие на селе одиноки были, приходили к ней душу изливать, им легче становилось — а у неё радость на сердце! Уважали её там, другим в пример ставили, подработку частную подсовывали. А она и не отказывалась: кому укольчику поставить, кому массажика лечебного от радикулита, а кому и давлению смерить да сбор травяной подсказать. А Иван всё допытывал: где была, куда пошла? — Куда-куда? На Кудыкины горы продавать помидоры. Как-то вздумала ерепениться, так люто разгневался, и раз! — наотмашь по щеке! А рука тяжеленная, ладонь лопатой. Промочила горькими слезами подушку, синяки хвойными примочками залечила. Да и свекруха туда же: полно тебе выть! Крепись, мол, дурёха... Терпи! Стерпится — слюбится! Не ты одна — все так живут. Вот и смирилась Люда, да и смирение своё себе в великую заслугу поставила.

Стала по хозяйству ишачить, свету белого не видала. А хозяйство-то большое, знай, поворачивайся. Пока дела бабские сделаешь, денёк и прошёл. В огороде раком над картошкой стояла, за скотинкой ходила. А сбудешь её на базаре — радость мужу да ублажение. Тут ещё и сынок родился — вылитый Иван, один в один! Вот как бывает! Дитячко малое догляда требует. Любила его, души в нём не чаяла, баловала как могла. А он подрос — и тью-тью в город, за лучшей долей, будто там мёдом липовым помазано. Говорит, отжила деревня своё. Что верно, то верно — когда-то богатое колхозное хозяйство гордилось новостройками: двухэтажная школа, не просто клуб, а дом культуры, своя больница... А какие дворы! Один к одному, как огурчики! Теперь, как выбитые зубы — пустошь между домами, а того хуже — пустые халупы. К югу, где начинаются поля, гниёт брошенная ферма с полуобвалившимися зданиями. Что сыночке тут делать прикажешь? Мужики почти все спились и вымерли от спирта суррогатного, бабы лютые, а молодежь разбежалась кто куда горазд, лишь бы подальше... Вот и она не заметила, как сама переменялась с возрастом, на всю округу озлобилась, очерствела. Верно в народе говорят, не уйти от судьбинушки своей — отыщет тебя повсюду и приведет туда, куда ей надобно...

Враз спохватилась: ой, батюшки, да хватит ли всем водоньки на поминках? Надо предостеречь, чтоб много не наливали. По три рюмки и будет с них. Тут такие — им только подноси глаза заливать... И мясного не дождутся — постные дни пошли. Кутьёй обойдутся. Ишь, губу раскатали на булдыжку. А сами то, сами чего? Её глаза, холодные и бесчувственные, стали зорко следить за руками односельчан, подчас сующими деньги в карман её шерстяной жакетки. Она уже жалела, что не поставила на табурет с погребальной свечой поднос для благотворений: на нём сразу видно, кто сколько дал. А тут — сиди себе да и гадай на бобах, кто покупился.

Выносили Ивана головой вперёд, да бережно — не приведи Господь задеть о дверной косяк. Зашлёпали по рытвинам, по грязи, по неровным да скользким дорогам — мимо полинялых, давно не крашенных деревянных домов, крытых дранкой,

покосившихся курятников да свинарников, заросших репейником, мимо мятых холмов прошлогоднего жнивья и столетних берёз, сквозь лай собак, ржание лошадей, кислый запах навоза, сена и талого снега. Ветер мягко в спины толкал, словно гнал — лишь ноги переставляй. Как взбирались на пригорок, откуда всё село как на ладони, так чуть не уронили Ивана: припал на колено первый несущий, но остальные сдюжили. Так и пришли на заснеженный погост, где вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой да бурьяном холмов с нетесаными крестами русскими. За последним — зловещим прямоугольником чернела у ног свежеврытая могила, чернела и терпеливо ждала, готовая поглотить новое тело. Вокруг ямы — слякоть, глина вязкая: народ копошился, спотыкаясь на мокрых комьях взрытой земли, все валенки себе извазюкал.

Добродушный дьячок кропил покойного святой водицей, отпуская ему земные грехи: «Со Святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Ивана, где нет болезни, скорби и страданий, но жизни вечно блаженная». Сельчане держали горящие свечи и по очереди крест батюшки целовали, чтоб всё худое из них повылазило. Слова соблезнования были сухими и шершавыми, как наждачная бумага. Бледное лицо Люды наблюдало за происходящим пустым, отрешённым взглядом. Соседушки с двух сторон шептали ей, приказывая плакать и причитать, но она оставалась глуха к их мольбам, полностью ушла в себя, ничего не видела и не слышала. Очнулась, когда кто-то сильно подтолкнул в спину: надо прощаться с благоверным. Подошла и... отпрянула — совсем не похож на себя Иван. Лицо спокойное, восковое. Снег на него падает и не тает. До самых костей, должно быть, заледенел. Лежит себе мирно, руки сложив. А ведь всю жизнь на ногах был, покоя не знал. Наклонилась, поцеловала венчик на лбу, не касаясь губами. Да так и осталась стоять. Выждав для приличия маленько и не увидев больше желающих проститься с умершим, два здоровенных бугая, отбросив окурки, заколотили крышку гвоздями и торопливо опустили Ивана в могилу, головой на восток, ловко выдернув из-под ящика облезлые верёвки. С каменным лицом бросила она три горсти земли на крышку гроба. Мужики стали быстро орудовать лопатами, закидывая яму землёй. В ногах крест православный поставили, восьмиконечный, на него рушник повязали белый, расшитый пионами и ромашками. Украсили свежий холмик еловыми ветками да небольшим букетиком подснежников, ещё влажных, с упругими стеблями, хранящими тепло чьих-то рук. «Земля, природы мать, — её же и могила: что породила, то и схоронила», деловито изрёк «полоумный» Васька.

На поминки в столовую пришли всем селом — чтоб Ивана помянуть, самим поесть-попить, да вспомнить собственных покойников. За длинным столом подавали пироги, солёную рыбу, овощи, фрукты, конфеты и печенье. В центре красовались румяные блины и кутя с изюмом да густой патокой, с них и начали трапезу, не забыв помолиться за покойного и поставить ему полную рюмочку с хлебом. Пили и ели много — да всё ложкой, курили, тягомотину разводили. После трёх стопок фестивалить стали: шутки травить с прибаутками, старухи дурными голосами песнь затянули — молодость припомнили. Пили за Людку-вдову стоя, за их с Иваном сынушку, что не доехал до батьки, за жизнь, за друзей и соседей, за здоровье, кажись, даже за Сталина. Пить то сильно хотелось, а без тоста не принято. Дальше всякие напутствия пошли. А напоследок — слёзы. Наконец разбрелись по домам, видать, слов доктора тутошнего постыдились, Алексея Палыча. Помянули — и будет, сказал он им твёрдым голосом, пора, мол, и честь знать. Это был невысокий, голубоглазый мужчина с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. Когда-то они с Людой работали бок о бок: он врачом, она — фельдшером. Оба были молоды-зелены, вели на дежурстве умные разговоры, пришёлся ей по сердцу тем, что ни на маковое зёрнышко похож не был на других парней — дюже культурный был,

добрый... Душа-человек. Мечтала, чтобы он её целовал, обнимал, но так ни разу и не поцеловались! А потом... потом она пошла замуж за Ивана, забрюхатела, и всё рухнуло. Дальше был сон. Самый кошмарный и самый длинный сон в её жизни. Он длился многие дни, недели, месяцы, годы... А Алексей вскорости уехал то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток. И вот, оказывается, вернулся лишь немногим более месяца назад. Бабы на селе балаболят, что вдовец он теперича. Завидев его на поминках, Люда удивилась до безумия — сто лет не виделись. А как глянула в глаза да взгляды их встретились, он и покраснел, как юноша, да так, что лицо его белоснежное багровыми пятнами и покрылось. А она испуганно вдохнула воздух и — Бог ты мой! — почувствовала, как всколыхнулось в ней что-то, как ожило прежнее чувство, которое вроде бы давно умерло, но было ещё живо. И сердце её гулко забилося.

Придя в одинокий дом, Люда первым делом выгребла из кармана деньги, дважды пересчитала — не густо, не окупилась похороны, но, как говорится, и на том спасибо. Спрятала наличность в нижний ящик комода, поднялась с колен, и тут взгляд её упал на зеркало. Перед ней стояла поседелая хмурая женщина с лицом, скрытым тенью вдовьего платка и по-зимнему быстро надвинувшихся сумерек. Что и говорить — точно старуха! Разом вся жизнь её серая да бестолковая перед глазами пролетела, да и потухла, словно и не было её вовсе.

И вдруг слова Алевтины припомнила, что сказаны были ей во хмелю, под самое прощание:

— Будет тебе, Людка. Ухажёра себе ищи! Ты баба пока что не старая. Гляди, ещё, может, и замуж пойдёшь!

Представила себя молодухой и застыла от волнения. Вскинув руки, неспешно стянула с головы платок, порывисто распустила волосы, и, когда они тяжелыми прядями рассыпались по её плечам, стала расчёсывать их гребнем — долго, как никогда прежде. Потом, точно её взорвало, метнулась к широкому, окованному железными полосами сундуку со всяким тряпьем, отворила его, громко звякнув навесным замком, и погрузилась в пропахшее нафталином нутро. На глаза попались заплесневелые и поеденные молью, оставшиеся от свадьбы рубашки-длиннорукавки с вышивкой, рушники из беленого льна, отделанные красным шёлком и вышитые золотой нитью, пояса тканые с узлами в бахrome. Обилие красного, цвета жизни и плодородия, взбудрило её, взбудоражило. Засунув руку под свекровину пряжу, полотенчики-салфеточки, старую скатерть, расшитую гарусом, она нащупала на самом дне свёрток. В нём было платье цвета спелого персика — давненько сынок из Москвы привозил, да всё негде было носить. Обидно. Берегла его на счастливый день, да не случилось такого. Знать бы, будет ли впору или к портнихе нести придётся? Здесь же лежали аккурат под стать платью бусы с крупными бусинами, и туфли с каблучком — обзавелась ими, когда техникум закончила. Про них то она и напрочь забыла! А нынче чудо как возрадовалась, так радуются при встрече со старыми знакомыми, с которыми с давних пор не виделись и от которых думают услышать что-то новое и путное.

Напялила платье, влезла ногами в туфли. Попробовала окинуть себя взглядом со стороны и невольно залюбовалась: до того ладная да фигуристая бабёнка. Наряд придал её бледным чертам смелости, вдохнул в неё жизни. Распущенные волосы легкомысленно с плеч спадали, да и ноги, пусть и натруженные, с мозолями, оказались всё ещё ровнёхонькие да стройные.

И совсем ещё не старуха! — вырвалось из груди. — Полтинник внедавно разменяла, а ничего. Всю жизнь пахала, ломала хребтину как лошадь, так ужель себе право на счастье не заработала?

Сказала, и лёгкий испуг пробежал по её телу. Вот те и раз! Совсем сдурела баба? Аль наполовину?

Покойный Иван слов сих бесстыжих не слышал, да и нарядов не видал. Он, крепко скрестив руки, спал глубоко под окоченелой землей, в тиши и покое. А жена его, Людка, осталась наверху, в заснеженном холодном мире. Да только, поди, недолго осталось ей тепла ждать: февраль уж в дорогу сбирался, и чувствовалось робкое, едва уловимое дыхание весны. Оно дурманило воздух и всё живое на земле, поднимало соки в деревьях, чьи почки сбрасывали оковы льда, и несло с собой пьянящее ожидание перемен.

Время от времени старуха покашливала, и влажная мокрота протяжно хрипела у неё в бронхах, превращаясь в сладковатый слизистый комочек во рту. Она сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то поддрагивающие кончики губ, которые, казалось, вот-вот коснутся выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким, певучим причитаниям: «Ваня, милый ты мой, кровинушка! На кого ж ты меня покинул, ненаглядный?! За что наказал? Теперь одна... Как же жить-то теперь?», и тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно...

Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл: уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящееся кадило и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку и народ всё шёл и шёл: как-никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу, другие, чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал, накрытый белой простынёй, с ликом Спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насупленными бровями: он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окропленную святой водой холодную некрашеную домовину, сколоченную из свежеструганных сосновых досок.

Сельские бабы, только ступив в дом, принимались голосить с самого порога. Мужики поначалу копошились в сених, топали валенками, сбивая с них снег, затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание, жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым, колючим еловым лапником и, оборачиваясь, сочувствие вдове выражали. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом удручённо головами в косыночках мотали и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу, дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы: всё шевелила губами немые причитания да теребила платок.

Глядь, в дом вбежал полоумный Васька-заморыш, ногами к гробу засеменял и раз — что-то сунул в ноги покойному.

— Эй, Васька, ты чё учудил, дуралей? — хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот примостился рядом.

— Да Васька чё? Васька всё село обежал, нигде цветов нету. Непогодица. Все Ваську журят, а Васька Ивану шоколадку...

В какой-то момент ей показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Зашлась родимая затычным кашлем, закрыв рот рукавом и так давясь горлом, будто её рвало.

— Худо мне, Клава, — произнесла она, едва успокоившись.

— Дак это с непривычки, Люда, — закивала соседка, махнув рукой. — Уж на что я привычная — ведь мужа, брата и сына схоронить успела — и то... Вот я тебе ща

водицы подам, даст Бог полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке, поди, кукиш кажет. И глаза все вконец выплакала, горемычная... Ты того, ступай, поешь малость, а мне идти надоть, скотинка некормленная ждёт.

Права была Клавдия — Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги и подкосились, ничком на пол рухнула и забилась, завывла как собака. Клавка, которая прибежала на этот вой, смотрела на неё и, поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки кряду: пока покойник в доме, надобно держать всенощную. Иван работал дежурным электромонтёром, спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни — ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может: захочет — свет зажжёт, захочет — погасит, короткое замыкание может удлинить, а длинное — укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна, без детей, без мужа. Дом старый, от бабки остался. В нём то уют заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят, а то и проводка дотла сгорит. Вот Иван по доброте душевной и пособляет ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, безбашенный, так его на месте как шандарахнуло. На смерть! В морге сказали, что под градусом был да лыка не вязал, и умер без мучений — моргнуть не успел.

На приличные похороны денег не хватало. Но сельчане выручили, всячески пособляли Люде устроить мужу подобающее прощание, да такое, чтоб никто не осудил. И что б она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драили мылом полы, окна и двери, вытирали от пыли образа, завешивали сервант да зеркала. Лавочек вот натаскали — собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего: все хорошо помнили, что сор при покойнике вымести — всех из дому вынести. А мужики вот с машиной помогли, доставили Ивана из больничного морга, за гробом съездили, недорого, правда, но очень добротным, священника местного пригласили. Свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтобы душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил.

Стыд да срам, что родной сын приехать не смог — дела у него да заботы. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе с голым задом останешься! Всё у него шито-крыто: с кем живёт и как, что ест и пьёт, где ляжку тянет — ничего ей толком не знамо. Безалаберный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи, образумь, ты его! Вернулся бы в село. Нашёл бы себе девку здоровую, работающую. Детишек бы на свет Божий нарожали. Жили бы как люди... Хорошо хоть депешу прислал, короткую, в три слова: «соболезную похорони оплачу»...

На освободившееся Клавкино место тихонько подседа Алевтина. Обняла, руку сжала и что-то шепнула на ухо, да только Люда не разобрала слов, сидела с каменным лицом. А та опять за своё, что-то ей там про Ивана на тихой ноте бубнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы.

Не убивайся ты так, подруга, услышала она. Не стоит он того! всю жизнь гулял от тебя, ни одну юбку мимо не пропускал. Вот те крест святой, не вру. Чего глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался, жил с нею блудно. Вальку-то Раскладушку всё знают. Охомутала она его — кого хошь спроси! А в тот день благоверный твой квасил у неё во всю — дым коромыслом стоял. Я ведь там близёхонько, по-соседству. Напились до поросычьего визгу. Ванька твой орать стал, что изменяет ему Валька. Да оно, небось, так и было. Валька, как-никак, баба видная: краснощёкая, стройная, грудастая. Вон воротилась из города — накувыркалась там, поди, с лихвой. Рыжие патлы свои распустила, наподадилась, хоть стой — хоть падай, огляделась, заметила себе мужика крепкого, работающего, раз в гости позвала —

по хозяйству подсобить, другой, третий, да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю! Хоть и ведаю, что негоже поминать покойного дурным словом — душа его на том свете умается, но как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану, правду-матку всю выложу, как на ладонке...

Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударила в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а всё перед глазами, как в сильный ливень, поплыло. Верно в народе говорят: жена об изменах мужа узнает в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, вскипело... Получается, все знали! Да молчали, грех Ванькин покрывали...

Будь на твоём месте, продолжала Алевтина, извела б её на корню, змею подколодную, тварь поганую, зелья б подсыпала иль порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчерась надумала: покласть бы в Иванову домовину вещицу её какую, трусики разноцветные али лифчик — всякий раз на бельевой верёвке качаются туды-сюды, мужиков закликают. Покласть — и всего-то делов. Ахнуть не успеешь — вослед за супружником твоим покандехают...

За окнами мело не на шутку. Ветер с силой, размашисто кидал снежные хлопья в стекла, в белой пелене расплывались, терялись силуэты изб и деревьев. Снег, едва долетев до земли, начинал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана, дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего...

Зловещую тишину нарушило лёгкое шуршание ткани: упало покрывало с зеркала, обнажив леденящую душу картину. Что это — явь иль сон? В горнице гроб стоит, входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопочут, утешают и кручинятся. Но за спиной её, пустозвонки, всё судачат да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит!

Знали все! И молчали. А теперь шастают туда-сюда, цокотухи, лишь бы кости Ванькины перемыть, и, может статься, кое-кто в душе даже радуется беде её.

Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась дрожащим огоньком лампадки, пытаюсь заполнить звенящую пустоту отчаянья и злости, пробиравшую Люду до самого сердца...

Ясно, во всех красках, представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой, стакан за стаканом, а потом растрепанная, шалая, в сползшей с плеча кофте, устроилась подле него, телка захмелевшего, стала будить-тормозить пунцовыми губками: «Да не спи ты, соколик! Полюби меня сильно...». Иван, дурья башка, что-то мычал со сна, отталкивал её, а Валька кофточку скинула, и сисечки свои напоказ — остренькие, как у её козочки Зорьки, в разные стороны глядящие тугими сосками...

Вздохнула прерывисто да на мужа глянула — лежит, не шевелится, непутёвый. Вздогнула, вспомнив про его частые отлучки: охоту на три дня и три ночи, рыбалку на вечернюю зорьку — говорил, перед закатом лучше клюет, — а то и «халтурку» на стороне, когда неделями ждала — не могла дожждаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный — ты и не пикни, не суй свой нос в посторонние дела, щи вари да знай место, женщина. А чуть что не так, вставал на дыбы, посылал крепко в тьмутаракань, так то и ладно, а то мог ведь и промеж глаз. Ох, и слепая ж была! Дура!

Лицо её исказила судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали пред ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить. Вот здесь ей восемнадцать годков. Хороша! Приударил за ней Иван, гармонист чубастый, первый парень на селе, девок щелчком пальца подзывал! Всё твердил: «Гуляй ты, Людка, пока

молода да красива. Другие ж девки гуляют. Чего тебе-то порожем ходить? Неужто хуже других?». Иван завидным женихом считался, зарплата для села большая и служебным грузовиком пользовался, как личным. Начальство позволяло держать машину в заулке возле дома, вот и катал он девчат, а те визжали от радости. А как-то однажды балясами её заморочил, затащил на сеновал, подальше от людских глаз, где сладко пахли недавно скошенные травы. Тьма там стояла — глаз выколи, только слабо светились щели в полу да кое-где сквозь дырявую кровлю пятнышки лунного света пробивались. Не обхаживал, не задабривал, не упрашивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди. Сдавил жадно, до боли. Кинул на ворох сухой травы. Прижал собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась: скорей бы только всё кончилось. А он потом всю жизнь попрекал да и унижал, что не честной за него пошла, не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы...

До того жадным оказался — всяку копейку считал, ничем не делился, а даст кому рубль, так потом два требует. Да и жуть каким ревнучим был! Не позволил ей работу продолжить в больничке местной — где фельдшером трудилась, даром что ли техникум медицинский закончила. И с любым она общий язык найти умела — с малым и старым. Многие на селе одиноки были, приходили к ней душу изливать, им легче становилось — а у неё радость на сердце! Уважали её там, другим в пример ставили, подработку частную подсовывали. А она и не отказывалась: кому укольчику поставить, кому массажика лечебного от радикулита, а кому и давлению смерить да сбор травяной подсказать. А Иван всё допытывал: где была, куда пошла? — Куда-куда? На Кудыкины горы продавать помидоры. Как-то вздумала ерепениться, так люто разгневался, и раз! — наотмашь по щеке! А рука тяжеленная, ладонь лопатой. Промочила горькими слезами подушку, синяки хвойными примочками залечила. Да и свекруха туда же: полно тебе выть! Крепись, мол, дурёха... Терпи! Стерпится — слюбится! Не ты одна — все так живут. Вот и смирилась Люда, да и смирение своё себе в великую заслугу поставила.

Стала по хозяйству ишачить, свету белого не видала. А хозяйство-то большое, знай, поворачивайся. Пока дела бабские сделаешь, денёк и прошёл. В огороде раком над картошкой стояла, за скотинкой ходила. А сбудешь её на базаре — радость мужу да ублажение. Тут ещё и сынок родился — вылитый Иван, один в один! Вот как бывает! Дитяtko малое догляда требует. Любила его, души в нём не чаяла, баловала как могла. А он подрос — и тью-тью в город, за лучшей долей, будто там мёдом липовым помазано. Говорит, отжила деревня своё. Что верно, то верно — когда-то богатое колхозное хозяйство гордилось новостройками: двухэтажная школа, не просто клуб, а дом культуры, своя больница... А какие дворы! Один к одному, как огурчики! Теперь, как выбитые зубы — пустошь между домами, а того хуже — пустые халупы. К югу, где начинаются поля, гниёт брошенная ферма с полуобвалившимися зданиями. Что сыночке тут делать прикажешь? Мужики почти все спились и вымерли от спирта суррогатного, бабы лютые, а молодежь разбежалась кто куда горазд, лишь бы подальше... Вот и она не заметила, как сама переменилась с возрастом, на всю округу озлобилась, очерствела. Верно в народе говорят, не уйти от судьбинушки своей — отыщет тебя повсюду и приведет туда, куда ей надобно...

Враз спохватилась: ой, батюшки, да хватит ли всем водоньки на поминках? Надо предостеречь, чтоб много не наливали. По три рюмки и будет с них. Тут такие — им только подноси глаза заливать... И мясного не дождутся — постные дни пошли. Кутьёй обойдутся. Ишь, губу раскатали на булдыжку. А сами то, сами чего? Её глаза, холодные и бесчувственные, стали зорко следить за руками односельчан, подчас сующими деньги в карман её шерстяной жакетки. Она уже жалела, что не поставила на табурет

с погребальной свечой поднос для благотворений: на нём сразу видно, кто сколько дал. А тут — сиди себе да и гадай на бобах, кто поскупился.

Выносили Ивана головой вперёд, да бережно — не приведи Господь задеть о дверной косяк. Зашлёпали по рытвинам, по грязи, по неровным да скользким дорогам — мимо полинялых, давно не крашенных деревянных домов, крытых дранкой, покосившихся курятников да свинарников, заросших репейником, мимо мятых холмов прошлогоднего жнивья и столетних берёз, сквозь лай собак, ржание лошадей, кислый запах навоза, сена и талого снега. Ветер мягко в спины толкал, словно гнал — лишь ноги переставляй. Как взбирались на пригорок, откуда всё село как на ладони, так чуть не уронили Ивана: припал на колено первый несущий, но остальные сдюжили. Так и пришли на заснеженный погост, где вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой да бурьяном холмов с нетесаными крестами русскими. За последним — зловещим прямоугольником чернела у ног свежеврытая могила, чернела и терпеливо ждала, готовая поглотить новое тело. Вокруг ямы — слякоть, глина вязкая: народ копошился, спотыкаясь на мокрых комьях взрытой земли, все валенки себе извазюкал.

Добродушный дьячок кропил покойного святой водицей, отпуская ему земные грехи: «Со Святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Ивана, где нет болезни, скорби и страданий, но жизни вечно блаженная». Сельчане держали горящие свечи и по очереди крест батюшки целовали, чтоб всё худое из них повылазило. Слова соболезнования были сухими и шершавыми, как наждачная бумага. Бледное лицо Людды наблюдало за происходящим пустым, отрешённым взглядом. Соседушки с двух сторон шептали ей, приказывая плакать и причитать, но она оставалась глуха к их мольбам, полностью ушла в себя, ничего не видела и не слышала. Очнулась, когда кто-то сильно подтолкнул в спину: надо прощаться с благоверным. Подошла и... отпрянула — совсем не похож на себя Иван. Лицо спокойное, восковое. Снег на него падает и не тает. До самых костей, должно быть, заледенел. Лежит себе мирно, руки сложив. А ведь всю жизнь на ногах был, покоя не знал. Наклонилась, поцеловала венчик на лбу, не касаясь губами. Да так и осталась стоять. Выждав для приличия маленько и не увидев больше желающих проститься с умершим, два здоровенных бугая, отбросив окурки, заколотили крышку гвоздями и торопливо опустили Ивана в могилу, головой на восток, ловко выдернув из-под ящика облезлые верёвки. С каменным лицом бросила она три горсти земли на крышку гроба. Мужики стали быстро орудовать лопатами, закидывая яму землёй. В ногах крест православный поставили, восьмиконечный, на него рушник повязали белый, расшитый пионами и ромашками. Украсили свежий холмик еловыми ветками да небольшим букетиком подснежников, ещё влажных, с упругими стеблями, хранящими тепло чьих-то рук. «Земля, природы мать, — её же и могила: что породила, то и схоронила», деловито изрёк «полоумный» Васька.

На поминки в столовую пришли всем селом — чтоб Ивана помянуть, самим поесть-попить, да вспомнить собственных покойников. За длинным столом подавали пироги, солёную рыбу, овощи, фрукты, конфеты и печенье. В центре красовались румяные блины и кутя с изюмом да густой патокой, с них и начали трапезу, не забыв помолиться за покойного и поставить ему полную рюмочку с хлебом. Пили и ели много — да всё ложкой, курили, тягомотину разводили. После трёх стопок фестивалить стали: шутки травить с прибаутками, старухи дурными голосами песнь затянули — молодость припомнили. Пили за Люддку-вдову стоя, за их с Иваном сынушку, что не доехал до батьки, за жизнь, за друзей и соседей, за здоровье, кажись, даже за Сталина. Пить то сильно хотелось, а без тоста не принято. Дальше всякие напутствия пошли. А напоследок — слёзы. Наконец разбрелись по домам, видать, слов доктора тутошнего постыдились, Алексея Палыча. Помянули — и будет, сказал он им твёрдым

голосом, пора, мол, и честь знать. Это был невысокий, голубоглазый мужчина с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. Когда-то они с Людой работали бок о бок: он врачом, она — фельдшером. Оба были молоды-зелены, вели на дежурстве умные разговоры, пришёлся ей по сердцу тем, что ни на маковое зёрнышко похож не был на других парней — дюже культурный был, добрый... Душа-человек. Мечтала, чтобы он её целовал, обнимал, но так ни разу и не поцеловались! А потом... потом она пошла замуж за Ивана, забрюхателя, и всё рухнуло. Дальше был сон. Самый кошмарный и самый длинный сон в её жизни. Он длился многие дни, недели, месяцы, годы... А Алексей вскорости уехал то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток. И вот, оказывается, вернулся лишь немногим более месяца назад. Бабы на селе балаболят, что вдовец он теперича. Завидев его на поминках, Люда удивилась до безумия — сто лет не виделись. А как глянула в глаза да взгляды их встретились, он и покраснел, как юноша, да так, что лицо его белоснежное багровыми пятнами и покрылось. А она испуганно вдохнула воздух и — Бог ты мой! — почувствовала, как всколыхнулось в ней что-то, как ожило прежнее чувство, которое вроде бы давно умерло, но было ещё живо. И сердце её гулко забилося.

Придя в одинокий дом, Люда первым делом выгребла из кармана деньги, дважды пересчитала — не густо, не окупились похороны, но, как говорится, и на том спасибо. Спрятала наличность в нижний ящик комода, поднялась с колен, и тут взгляд её упал на зеркало. Перед ней стояла поседелая хмурая женщина с лицом, скрытым тенью вдовьего платка и по-зимнему быстро надвинувшихся сумерек. Что и говорить — точно старуха! Разом вся жизнь её серая да бестолковая перед глазами пролетела, да и потухла, словно и не было её вовсе.

И вдруг слова Алевтины припомнила, что сказаны были ей во хмелю, под самое прощание:

— Будет тебе, Людка. Ухажёра себе ищи! Ты баба пока что не старая. Гляди, ещё, может, и замуж пойдёшь!

Представила себя молодухой и застыла от волнения. Вскинув руки, неспешно стянула с головы платок, порывисто распустила волосы, и, когда они тяжелыми прядями рассыпались по её плечам, стала расчёсывать их гребнем — долго, как никогда прежде. Потом, точно её взорвало, метнулась к широкому, окованному железными полосами сундуку со всяким тряпьем, отворила его, громко звякнув навесным замком, и погрузилась в пропахшее нафталином нутро. На глаза попались заплесневелые и поеденные молью, оставшиеся от свадьбы рубашки-длиннорукавки с вышивкой, рушники из беленого льна, отделанные красным шёлком и вышитые золотой нитью, пояса тканые с узлами в бахrome. Обилие красного, цвета жизни и плодородия, взбудрило ее, взбудоражило. Засунув руку под свекровину пряжу, полотенчики-салфеточки, старую скатерть, расшитую гарусом, она нащупала на самом дне свёрток. В нём было платье цвета спелого персика — давненько сынок из Москвы привозил, да всё негде было носить. Обидно. Берегла его на счастливый день, да не случилось такого. Знать бы, будет ли впору или к портнихе нести придётся? Здесь же лежали аккурат под стать платью бусы с крупными бусинами, и туфли с каблучком — обзавелась ими, когда техникум закончила. Про них то она и напрочь забыла! А нынче чудо как возрадовалась, так радуются при встрече со старыми знакомыми, с которыми с давних пор не виделись и от которых думают услышать что-то новое и путное.

Напялила платье, влезла ногами в туфли. Попробовала окинуть себя взглядом со стороны и невольно залюбовалась: до того ладная да фигуристая бабёнка. Наряд придал её бледным чертам смелости, вдохнул в неё жизни. Распущенные волосы легкомысленно с плеч спадали, да и ноги, пусть и натруженные, с мозолями, оказались всё ещё ровнёхонькие да стройные.

И совсем ещё не старуха! — вырвалось из груди. — Полтинник в недавне разменяла, а ничего. Всю жизнь пахала, ломала хребтину как лошадь, так ужель себе право на счастье не заработала?

Сказала, и лёгкий испуг пробежал по её телу. Вот те и раз! Совсем сдурела баба? Аль наполовину?

Покойный Иван слов сих бесстыжих не слышал, да и нарядов не видал. Он, крепко скрестив руки, спал глубоко под окаменелой землей, в тиши и покое. А жена его, Людка, осталась наверху, в заснеженном холодном мире. Да только, поди, недолго осталось ей тепла ждать: февраль уж в дорогу сбирался, и чувствовалось робкое, едва уловимое дыхание весны. Оно дурманило воздух и всё живое на земле, поднимало соки в деревьях, чьи почки сбрасывали оковы льда, и несло с собой пьянящее ожидание перемен.

Ольга ПРИЛУЦКАЯ. Манюнька

Собака — это Божество. Слово собака нужно писать не с большой буквы, но всё слово СОБАКА — большими буквами.

Марина Цветаева

Восемнадцать лет назад в доме напротив нас поселились квартирантами беженцы из Абхазии: муж с женой и её младшая сестра, мать-одиночка с грудным ребёнком. У них была маленькая собачонка по имени Манька — бесхвостая дворняга-симпатяга с большой примесью йоркширского терьера. Маленькая, но очень гавкучая. Глазёнки с поволокой, несколько неуклюжая, на первый взгляд. Как-то разговорившись с новыми соседями, узнала её историю. Когда она появилась в той семейке, там уже была большая старая собака. Однажды щенок попался под пьяную руку хозяину, и он со всего размаха шибанул его о стенку. Маленькую Маньку парализовало, она ослепла. На неё махнули рукой: и жить не живёт, и не умирает. Не сразу обратили внимание, что старая собака занялась малышкой. А точнее, та неотступно всюду ползала за ней следом. Ко всеобщему удивлению, когда старая собака умерла, Манька встала на лапы и даже кое-что видела...

В марте или апреле 1999 года у неё родилось несколько щенков. Они были разные: одни — бесхвостые и маленькие, похожие на мать, другие — с хвостами, похожие на отцов, которых знала лишь Манька. И только глядя на одну малышку можно было сразу сказать, кто её родители: она была копией соседа Мишеля, иссиня чёрного шпица. Правда, роскошный папашин хвост, которым он очень гордился, казалось, отвалился у неё во время рождения, превратившись в материну култышку.

Когда щенкам перевалило за месяц, их хозяева-квартиранты вынуждены были искать себе другое жильё. С нашей улицы они съехали, а собак своих оставили во дворе дома, где прожили год. Сказали: "Вот пусть их новые жильцы и кормят!" А новых жильцов не было — дом продавался и долго не мог продаться...

Как-то незаметно щенков пристроили, разобрали добрые люди. И только дочку Мишеля никто не взял. Как частенько случается в жизни, у красивых родителей дети не всегда, даже повторяя их, бывают симпатичными. То ли по этой причине никто не взял ту малышку, то ли на роду ей было написано иное... Осталась она со своей матерью-полукалекой. Ночевали в саду или в открытом полуподвале дома прятались от непогоды. Как кормились? Да когда как...

Я носила им кашу, которую варила в большой кастрюле для своих пяти собак и девяти кошек. Именно в девяностые годы у нас образовался небольшой домашний приют. Времена после распада СССР и нашей стабильной жизни с уверенностью в завтрашнем дне наступили трудные: безработица, невыплаты зарплат, почти всеобщее безденежье. И, конечно, от этого в первую очередь страдали животные. Много их тогда оказалось на улице. К своим эрделям, Вике и её дочке Алиции, мы подобрали двух "дворян"-мальчишек (Терентия и Рыжика, которые до конца своей жизни не могли утихомирить свою ревность). Пятой по счёту была месячная девочка, её мы поначалу приняли за боксёра. Имя ей дали Хэппи Энд в надежде на то, что будет последней она у нас... Потому эту парочку я вовсе не планировала забирать к себе. В конце концов, вокруг немало дворов, а нам и своих хватает...

Но время шло к осени. Манюнька, как я окрестила щенка, таскала свою колченогую маманьку к магазинам — там им бросали кой-чего пожевать. Однажды они встретили свою бывшую хозяйку — она шла на работу. Манюнька отследила её путь и в следующий раз притащила Маньку к двери школы, где хозяйка работала вахтёршей, и прочно устроилась у порога, надеясь сидеть до победного. Устав от ожидания, она

громко разлаялась — видно, пыталась разбудить в женщине совесть... Но та вышла и погнала их веником, приговаривая: "Вот наглая морда!" А в той "морде" было тогда не больше трёх килограммов. Собачонки всё поняли и подались восвояси... Так и слонялись они по улице — живчик Манюнька и Манька, которая могла в основном опираться лишь на передние лапы, поскольку задние она волокла волоком.

Манюнька охраняла свою мать от кобелей, когда те бегали за ней стаей - тьякала на них, пыталась ухватить их за бока, путалась у них между лап, а они с высоты своего роста в пылу любовной страсти не обращали на неё никакого внимания.

Манька, не гляди, что колченогая, была задирой ещё той... Чужих собак не пропускала по улице, обязательно облаивала. Однажды шёл парень с питбулем. Манька стала лаять на пса. Тот оказался галантнее своего хозяина — просто отводил в сторону морду от маленькой симпатичной собачухи. Парень же со всего размаха поддал Маньке под ребро, аж хруст послышался. Я, увидев это через калитку, заорала во всю глотку "Своло-о-о-чь!" и выскочила на улицу. Амбал, сплюнув в пыль, ответил: " А не распускайте свою псюрню..." и спокойно пошёл вниз, к Дону.

Я поняла, что собачонок надо убирать с улицы. Но как это сделать, пока не представляла, поскольку они были слишком свободолюбивы, меня знали плохо и идти во двор, из которого слышался лай пяти собачьих глоток, не очень-то желали.

Наступил сентябрь. Мы на недельку уехали в Сочи. Из тепла вернулись в конце месяца, когда листва в наших садах пожелтела и начала осыпаться, народ к Дону ходил реже, и жизнь Маньки с Манюнькой стала голоднее и холоднее. Тогда-то Манюня и присмотрела лаз в нашем заборе. Голод не тётка, гнал её к мискам с остатками каши наших кошек. Я, заметив это, стала подкладывать специально для неё добавку. Маньки у себя в огороде не видела. И вот однажды под вечер, когда все наши собаки были в доме, наблюдаю картину. Манюнька подводит к своему лазу мать, первой проникает на огород, оглядываясь назад, чтоб подбодрить нерешительную Маньку. Та, сделав шаг вперёд, останавливается и поворачивает назад. Манюнька бежит к ней, слегка прихватывает её за шею зубами, тащит вперёд. Пройдя чуть-чуть, Манька упрямо останавливается. Тогда дочь подскакивает к миске, хватая из неё кусок хлеба и несёт его матери. Манька очень аккуратно, очень интеллигентно маленькими кусочками откусывает и ужинает, пока Манюня ускоренными темпами вылизывает кошачьи миски.

В первых числах октября наши соседки сдались — поздним вечером, когда все наши были в доме, чинно прошествовав через огород, Манька с Манюнькой остановились у двери. Я вышла, они удирать не стали. "Ну, заходите в дом, будете ночевать пока на веранде" — сказала я им. Девчонки меня сразу поняли, отказываться не стали...

Несколько дней с утра пораньше я выпускала их в огород, а своих собак во двор. Через сетку они знакомились друг с другом. Эрдели у нас были очень дружелюбны, кобелей интересовали новые девочки, молоденькая Хэппи просто радовалась гостям. А гости тихонько порывивали на всех, чувствуя себя в полной безопасности, осознавая надёжность сетки. Кошачье семейство их совсем не волновало.

Когда в очередной раз я вышла за чем-то в огород, Манюнька стремглав метнулась к двери, буквально ворвалась в дом, влетела в спальню и забралась под мою кровать. Манька, поспешно приволакивая задние лапы, последовала за дочерью. Они, видно, решили обороняться до победного конца. Позиция оказалась очень удобной. Хозяева, вернувшись домой, и так и эдак пытались подступиться к ним для более близкого знакомства, да не тут-то было! Злобное рычание из-под кровати развело всех по своим местам: койкам и креслам. Ночь прошла довольно спокойно. Кушать наши гости опасно выбирались лишь тогда, когда хозяева выходили во двор. Их самих на выгул я просто выносила. Сделав свои дела, они выжидали, когда откроется дверь в

огород, и мчались под кровать. Так продолжалось дней пять. Потом они снизошли до хозяев и дали понюхать у себя под култышками, пардон, хвостами...

Спустя полгода задние лапы Маньки стали вполне нормальными. Она даже, глядя на других, пыталась заскочить на кресло или кровать. А уж как кокетничала перед мальчиками...

Жили дружно. Только Хэппи очень раздражала иногда Маньку своей ребячливостью, и она пыталась её воспитывать. Это вызывало мягкий, но решительный протест собаки, которая внешне была раза в три крупнее воспитательницы. С Манюней же они очень сдружились.

Как-то во время нашего ужина я услышала возню в зале и отчаянно громкий лай Манюньки. На драку кобелей, довольно частое явление в наших стенах, не похоже — успела подумать я, сорвавшись с места. Влетев в зал, вижу картину: Хэппи слегка прижала Маньку, прихватив её за холку, а Манюнька, взобравшись на свою подругу, ползает по ней, пытаясь прикусить то с одной, то с другой стороны, чтобы стащить с матери. Раскидав их по сторонам, не смея винить Хэппи, потому что Манька была виноватой, я разревелась, обнимая Манюньку и приговаривая: "Какая же ты верная, Манюнечка!" И правда, эта малышка всю жизнь была верной всему нашему огромному семейству. Она защищала кошек от чужих, готова была биться за каждого своего, кто бы это ни был: человек, кот или собака.

За семнадцать лет своей жизни в семье Манюнька проводила в дальний путь всех: сначала в 2001 году "ушли" эрдели — Вика, отболев две недели, через сорок дней её дочь Алиция. В мой день рождения в 2009 году оставила свою верную дочь Манька. Восемнадцатилетний Терентий очень достойно ушёл в марте 2011 года. Он вообще был необыкновенно аристократичен, предан нам и добр. Только вот Рыжику не давал никакого спуска — ревность так и искрила между ними. Но оставшись единственным парнем с двумя девчонками, Рыжик уже не радовался им так, как это было при жизни друга. Через два года и он ушёл к нему. Спустя год Хэппи...

Манюнька осталась одна в нашем некогда шумном доме. Всю свою любовь и верность она обратила ко мне. Если я уезжала на несколько дней, то по возвращении вынуждена была выслушивать её возмущение по этому поводу. Были они долгими и страстными. Но как-то враз сильно поседела её маленькая мордашка, что, кстати, очень украсило Манюню, придав ей "выражение лица"...

Месяца через два после смерти Хэппи я привела в дом Мэрьку. Произошло это совершенно случайно. Мы вовсе не собирались брать в дом новую собаку. Слишком велико было ещё не остывшее, горькое чувство потери Хэппи. Вовсю цвёл апрель. Я возвращалась домой, с грустью думая о том, что там теперь тихо, Манюнька плохо слышит и всё реже ругает меня за отлучки.

Весёлая молодая собачка бежала по улице, то задевая встречных собак, то улыбаясь мне, когда оказывалась со мной рядом. Дойдя до калитки, я пригласила её, почему-то почувствовав, что она ничья. Ещё, несмотря на то что она была с виду очень чистой, у меня мелькнула мысль, что у неё есть клещи. И точно — блох не было, а вот клещей мы с неё сняли не меньше пятидесяти штук. Думаю, не попади она к нам, дни её были бы сочтены.

Я очень беспокоилась, как её примет Манюнька. Но напрасной была моя тревога. Сначала, часа три, было нескрываемое презрение к гостье, потом с сутки — холодное равнодушие. А та всё пыталась обратить на себя Манюнькино внимание. Но дня через два они признали друг друга и подружились. Мне даже показалось, что Манюня ожила и слегка помолодела. Два года неугомонная Мэри бодрила её... Но время всё же сделало своё дело...

Манюнька не сдавалась до последнего, как всю свою жизнь делала это... Мы боролись с ней за жизнь до самого конца — уколы витаминов, иммуномодуляторы, самая вкусная и полезная пища...

Март. Преддверие весеннего праздника. Горький месяц для меня с некоторых пор... Последние три дня Манюнька ничего не ела. Я, конечно, пыталась залить в неё хоть несколько ложек воды, жидкий кисель из «Геркулеса». Но толку от этого было мало. Я понимала, что, скорее всего, делаю ей хуже своим стремлением помочь... Она угасала без единого звука — ни разу не таякнула, не застонала.

И вдруг однажды, вконец обессиленная Манюня, лёжа на боку, слегка приподнялась и громко, по-молодому, залаяла. Я всё поняла. Точно так же пять лет тому назад прощался с жизнью Терентий...

Верные мои СОБАКИ! Я знаю, что вы все считали меня вожаком стаи. Вы любили меня, вы были уверены, что я лучше всех, сильнее всех, что я могу сделать всё. И я делала... У меня получалось всё, кроме одного...

Простите меня, мои «ребятишки», за то, что я не могу стать сильнее смерти...

Михаил СМИРНОВ. Брат

Алешка, сутулый из-за большого горба и поэтому всегда смотревший на мир искоса и исподлобья, в синем трико, в серой застиранной рубашке, в воротах виднелась черная нить и простенький крестик, отложил книгу и прислушался. В подъезде послышался шум. Кто-то неторопливо поднимался по лестнице. Потом по двери громыхнули раз, следом другой и донесся громкий голос. Услышав стук, Алешка пожал плечами. Он никого не ждал, тем более ранним утром. Опять прислушался. Может, кто ошибся, проходя мимо двери, и стукнул случайно, но тут снова ударили по двери. Алешка поднялся с дивана, где сидел и читал книжку и, скособочившись, подволакивая ногу, подошел к двери и распахнул.

– Дверь сломаете, – буркнул Алешка. В полутемном подъезде стоял крепкий мужчина, одетый в дорогой костюм, белую рубашку с галстуком и в блестящих узконосых туфлях, который, надвинув простенькую кепку на глаза, держал в руках большую дорожную сумку и несколько пакетов. – Что надо? Слушаю...

Мужик хохотнул, толкнул Алешку в грудь, он пошатнулся и, не удержавшись, отступил в сторону. Незнакомец шагнул в прихожую, бросил сумку и пакеты на пол, щелчком отправил кепку на затылок и заорал. Не сказал, а именно заорал.

– Крючок, здорово! – мужик облапил Алешку и принялся хлопать его по спине. – Черт горбатый, это же я приехал! – он отстранил Алешку от себя, пытаясь заглянуть ему в лицо. – Эй, крючок, не узнаешь меня? – громко хохотнул, и снова принялся хлопать ручищами по спине. – Сколько лет, сколько зим! Не ждали, а я приехал!

Алешка поморщился от боли и шагнул в сторону, вырвавшись из крепких объятий или тычков, которыми награждал незнакомец. Нахмурившись, Алешка с удивлением посмотрел на приезжего, подтянул сползающее трико, поправил рубашку, качнул взлохмаченной головой и недоверчиво отмахнулся.

– Да ну, не может быть! – и снова пристально взгляделся в полутемной прихожей в гостя. – Васька, неужели решил приехать? – недоверчиво сказал он, потирая небритую щеку. – И как же ты надумал? Столько лет не было, а тут, как снег на голову. Мы тебя ждали на похороны, а ты... – Алешка нахмурился. – Ты опоздал, брат. На этой неделе уже сорок дней будет, как мамки не стало, а ты... – Алешка рукой, и не удержался, съязвил. – Видать, пешком добирался. Ладно, сейчас объявился, а то вообще про нас забыл. Проходи, Васька, не стой на пороге, – и, покачивая головой, скрылся за старенькой портьерой. – Уж сорок дней будет, как схоронили, а он только лишь надумал...

Васька, не слушая младшего брата, рассказывал что-то своё. Оставил сумку и пакеты возле порога. Кепку забросил на вешалку и она, зацепившись за крючок, качнулась. На вешалке куртка, коричневый выгоревший плащ из болоньи, безрукавка и почему-то старая зимняя шапка, хотя на улице было лето. Васька, мельком окинув взглядом прихожую, как был в туфлях, прошел в полутемный зал с занавешенными окнами, плюхнулся на продавленный диван и вздохнул, раскинув руки на спинке, поглядывая на солнечные лучи, которые пробивались через узкие щели в портьерах.

– Ох, хорошо-то как! Что говоришь, крючок? – посверкивая золотым зубом, сказал он и, не слушая брата, закрутил башкой, осматривая полутемный зал. – А где мать? Ушла что ли? Ну, рассказывай, Леха, как живете, не обижаешь ее? Гляди, мой характер знаешь. Быстро по шее наступчу! – завертел головой и громко крикнул. – Эй, мать, я вернулся! Где ты, а? Встречай блудного сына...

И, довольный собой, расхохотался.

Васька сидел на диване, осматриваясь по сторонам. Долго не был дома, а всё осталось по-прежнему, как ему показалось. Ничего не изменилось. Хотя нет,

изменилось... У него появилось ощущение, что попал в заброшенную, нежилую и чужую квартиру, а не в родной дом. Он не почувствовал того человеческого тепла, которое должно быть в жилой квартире. Васька невольно передернул плечами. Ему показалось, что от обшарпанных стен и старой мебели повеяло холодом. На серванте стояла небольшая фотография стариков в простенькой рамке – это бабка с дедом. Виднелся уголок книги. Наверное, крючок оставил. Васька так называл брата – горбуна. У него с малых лет была привычка читать, и книги можно было встретить везде, даже в самых неожиданных местах, а Васька не переносил книги. Пустая трата времени и ни к чему забивать мозги всякой ерундой. А Алешка всегда был с книгами. Не дозовешься, если читает. И Васька злился, а бывало, даже отнимал книги и прятал, да еще грозил, что выбросит. Алешка молчал. Он всегда был таким – молчаливым и это как-то настораживало, кто знает, что на уме у этого крючка, но в то же время, появлялась злость, что братишка не бежит жаловаться, а молчком терпит издевательства над ним.

Васька принюхался. В квартире стоял густой запах лекарств, а раньше такого не было. Дверь на балкон открыта, но запах не выветривается. Вьелся. Васька опять осмотрелся. Старые, местами рваные обои на стенах. Дешевый коврик над диваном. Рядом тумбочка. В приоткрытом ящичке видны лекарства. Низкий потолок в разводьях старой побелки, с которого свисал выцветший оранжевый абажур. Деревянные, давно некрашенные полы. Коричневая краска местами облупилась и между досками видны широкие щели. Занавески задернуты на окнах, и висит старенькая застиранная тюль. Возле окна квадратный раскладной стол. Васька помнил его. Он еще в школе учился, когда купили стол и четыре стула. Хороший, красивый в те времена, как казалось. А большущий – страсть! Раздвигаешь его, серединку кладешь, которая под низом хранится и всё, человек двадцать уместится, а если есть припасенные доски, чтобы вместо стульев и табуреток положить, тогда еще больше народу уместится. В углу, возле балконной двери, стоит телевизор на тумбочке, на экран наброшена темная тряпка. Овальное зеркало, что висело в простенке, тоже прикрыто тряпкой. А вокруг тяжелый невыветриваемый запах, несмотря на открытый балкон. Стойкий запах лекарств, воска и еще чего-то, словно тленом пахло, что ли...

Алешка не стал присаживаться возле брата, который развалился на диване, раскинув руки, а расположился подле стола, пристроившись на краешке расшатанного стула. Он сидел и смотрел на старшего брата, который сразу после школы сбежал из дома и, можно сказать, что исчез на долгие годы. Они с другом сбежали на золотые прииски. Решили разбогатеть. На прииски не попали. Друг вернулся, а Васька не захотел возвращаться домой. Первое время жил, где попало, потому что никто не брал на работу, потом ему помогли с курсами, он выучился и устроился на работу. За все годы, он всего лишь дважды приезжал домой. Деньгами сорил направо и налево. Гулял на всю катушку. Мать пыталась образумить его, но бесполезно. Васька разругался в пух и прах с ней, Алешку отлупил, подхватился и умчался, сказав, что больше он не приедет. Проживу без вас, как он сказал. Хлопнул дверью и ушел. С той поры ни разу домой не приезжал...

Васька исчез на долгие годы. Редкий раз приходили коротенькие письма или открытки, что получил квартиру, жив-здоров, и всё на этом. Он не интересовался жизнью матери и брата. Не спрашивал, как они живут, в чем нуждаются. Он жил для себя. Алешка вздохнул. Изменился брат. Здоровенным стал. Не кулаки, а кувалды. И его взгляд заметил Алешка. Смотришь в глаза, вроде радуется, а приглядишься – не холодок, а стужей веет от его взгляда, аж обжигает. Улыбка широкая, а в глазах лед застыл. Это Алешка успел заметить, когда брат редкий глядел на него, а большей частью крутил башкой, осматривая квартиру.

– Что молчишь, крючок? – Василий покосился на братишку, потянулся и мотнул головой. – Эх, устал, как собака, пока добрался! Далеко живете, – сказал, словно это не его родной дом, а он приехал в гости, и тут же снова спросил. – Куда мать ушла? Утро, а она шляется. Гляжу, когда во двор зашел, ваши бабки уже возле подъездов сидят. Сплетнями делятся, старые кочережки, – и опять недовольно буркнул. – Где мать шляется, спрашиваю? Вот приедешь в гости, а их днем с огнем не найдешь...

И нахмурился, продолжая осматривать квартиру.

– Это... – Алешка заскрипел стулом, покосился на брата и еще сильнее склонился. – Это... Мамка не шляется. Она умерла. Тебе отбивали срочную телеграмму. Сообщили, что матери не стало, чтобы на похороны приехал. До последнего тебя прождали, а сейчас появился и делаешь вид, будто ничего не знаешь. Не говори, что не получал телеграмму. Так не бывает, брат...

Сказал, вскинул голову, взглянул на брата, который продолжал сидеть на диване и замолчал, и снова взгляд в пол.

Василий нахмурился. Посмотрел на худого братишку, на его горб на спине, который, как казалось, еще больше вырос, пока его не было дома. Взглянул, как он сидел, приобнимая спинку стула и уткнувшись взглядом в пол, а потом снова обвел взглядом запущенную квартиру, останавливаясь на телевизоре и зеркале, которые были закрыты темными тряпками и качнул головой.

– Нет, крючок, никакой телеграммы не было, – он взъерошил волосы, и шумно выдохнул. – Не брешь, крючок. Не могла она, мать, так рано... Она же еще молодая! – он нахмурился, запнувшись, о чем-то задумался, но тут же вскочил, подошел к столу, на котором была рамка с фотографией матери, где она еще молодая, долго смотрел на нее, и заторопился в спальную, где стоял старый шкаф да кровать, а в углу низенькое кресло, опять уселся на продавленный диван и, ударив кулаком по колену, рыкнул. – Хочешь сказать, что я обманываю? Не получал телеграмму, не получал! Я приехал. И подарки всякие понавез. Матери купил, и тебя не забыл, тоже по мелочи прихватил – рубашку там, футболку... А ты говоришь, что мать умерла. Как же так, крючок? Получается, что теперь у меня никого не осталось. Один я, как перст. Понимаешь?

И Василий снова рыкнул, стукнув по колену.

Вздвогнув, услышав его рык, Алешка крепко вцепился в спину, с опаской покосился на брата. Что он говорит-то? Почему один остался, а я получается неродной родному брату? Но качнувшись, Алешка промолчал, и снова глаза в пол. Он мало разговаривал. В основном, молчал и слушал. Так было всегда...

Старший брат долго сидел на диване. Что-то бормотал, а что – не разберешь, глядел на Алешку, осматривал квартиру, а потом вскинулся, заторопился в прихожую и, расстегнув сумку, принялся в ней шарить. Достал бутылку. Прошел на кухню и загремел посудой. Не рюмку, а стакан взял. До краев налил и молча выпил. Не поморщился. Из хлебницы достал корку черствого хлеба, шумно занюхал. Уселся на табуретку и поставил перед собой бутылку.

– Слышь, крючок, что с матерью случилось? – сказал он и опять принялся наливать водку. – Она же никогда не жаловалась на здоровье. Заболела что ли? Слышь, что молчишь? Айда сюда, мать помянем...

– У матери больное сердце было, – шаркая большими тапками, сказал Алешка и, открыв холодильник, вытащил банку с огурцами, выловил парочку, положил на тарелку и, осторожно взял чайную чашку. – Долго болела. И в больнице каждый год лежала. Я же тебе писал в письмах. Скорая приезжала. Участковый врач приходил. Мать ждала тебя. До последнего дня надеялась, что появишься, – Алешка запнулся,

опустил голову – глаза покраснели, потом взял чашу и выпил, придвинул табуретку и уселся за стол. – Мать тихо померла, во сне. Я даже не услышал. Утром поднялся, думаю, а что она не встает. Всегда раньше меня поднималась, а сейчас не выходит. Зашел, а она лежит. Вся желтая такая, а дотронулся – холодная.

Алешка протянул руку и тут же отдернул.

Васька покосился на братишку. Одним глотком опрокинув водку. Обвел взглядом скудную обстановку на кухне, где стоял холодильник, старый стол с дверками – еще тот, из далекого детства и три табуретки. На стене висела посудная полочка с несколькими щербатыми тарелками и блюдцами, а на нижней полочке лежали вилки и ложки. На подоконнике несколько банок и два горшка с цветами. Да, так было всегда, как он помнил. И в детстве жили бедновато. Матери одной пришлось тянуть их, двух пацанов. Лешка часто болел, а вот он не жаловался на здоровье. Никогда и ничем не болел, даже насморка не было. Мать всегда смеялась, что все здоровье ему досталось. А потом, после школы, сговорился с другом, потихонечку забрал все деньги, какие были дома, и смотался на золотые прииски. Думал, что встретят с распростертыми объятьями, но ошибся. Они с другом никому не нужны были, а обратно ехать, у него не было ни денег, ни желания, потому что знал, если вернется домой, уже никуда не вырвется. Так и останется жить в своем городке, а ему хотелось зарабатывать огромные деньжищи, посмотреть на мир, и жить, как он хочет, а не так, как его бы заставляли. Дружок уехал, а он остался. Но ему повезло, как он считал. Наткнулся на объявление, что принимают на курсы. Сочинил целую историю, лишь бы его взяли. Отучился на курсах, а потом попал на буровую. Тяжело было, но освоился. Хорошо зажил, когда стал работать. Другие копили деньги, а Васька не откладывал. Ему хотелось жить на широкую ногу, как говорится. И жил! Всё, что зарабатывал, быстро транжирил. А вот брату и матери не помогал. Почему – не мог себе объяснить. И про деньги, что у матери украл, оставил их без копейки, он старался не вспоминать, а чтобы вернуть украденные деньги – этого в мыслях не было. Одному легче живется. Поэтому жил для себя, жил в своё удовольствие. Пил, жрал и по бабам шлялся. Всегда говорил, что в жизни у человека будет столько баб, на сколько денег хватит. По курортам разъезжал, если получалось. Весело жилось, пока деньги в кармане водились, а потом впрягался и работал круглосуточно, пока опять не появлялись деньги и снова шел вразнос. И так каждый месяц, каждый год – всегда...

А недавно какая-то тоска навалилась. Сам удивился, что его домой потянуло, из которого пацаном сбежал. Давно ниточка оборвалась, которая связывала его с домом, а тут сильно потянуло. Бывало, ночами снилась мать. И всегда молчала. С укором смотрела и качала головой. И снилась молодой. Как видел в последний раз, в том обличье и приходила. А вот Алешка, младший брат, почему-то был безликим. Он и в жизни-то был таким: тихим, незаметным, и всегда виноватым. Всего боялся, всех опасался и ни в какие разговоры не влезал. Молчком смотрит и двух слов связать не может. Вообще старался избегать любого общения с людьми. Наверное, стеснялся своего горба. А Васька стыдился брата из-за этого горба, потому что друзья смеялись над ними, Алешку горбуном обзывали, а его – братом горбуна, а Васька злился, но отпор не давал и с каждым днем отдалялся от брата всё больше и больше.

Василий снова налил в стакан, выпил и посмотрел на Алешку. Младший брат. Васька смотрел, почему-то жалко было его, убогого, и не более того. Даже не сама жалость появлялась, а смешанное с ней презрение, что ли... Не было того, что должен испытывать брат к брату: любовь, родственные узы, привязанность и поддержка – этого не было. Давно не было. С детства, наверное, когда друзья стали смеяться, а он сторонился, стараясь никуда не брать младшего брата. Алешка был невысоким, а горб делал его еще ниже. Алешка всегда боялся смотреть на людей, а говорить тем более

отказывался. Молчуном был. Кивнет головой и пойми его, что он хочет. Сидит, прижмется и смотрит в одну точку. А если взглянет, то взгляд какой-то быстрый и недоверчивый. И сразу отворачивается. Василий вспоминал его. Вроде годы прошли, как уехал из дома, а вспомнит про Алешку и все равно в душе появлялось смешанное чувство жалости и презрения. А так, чтобы скучать по Алешке – этого не было. И сейчас, вот он, родной братишка, рядышком сидит, подойди и обними его, но не хотелось, потому что кроме жалости ничего в душе не было, словно на улице столкнулся с незнакомым калекой, взглянул на него и посторонился, пропуская инвалида, и сам дальше пошел. Жалость и не более того. Так, обычный прохожий, каких много по жизни встречается, а не родной брат. Брат, даже странно звучит. Такие, казалось бы родные, а присмотришься – разные, словно небо и земля. Неродные родные братья...

Алешка тоже исподтишка посматривал на старшего брата, продолжая сидеть за столом. Соскучился. Васька уехал, когда он еще подростком был. Мать в тот же день обнаружила, что Васька деньги украл. С работы пришла, а соседка сказала, что видела, как Васька с другом на поезд садились. Мать сразу кинулась к шкафу, где деньги держала, а там пусто. Всё забрал, что мать накопила. Даже не подумал, как они будут жить. Украл и уехал. Сильно ругалась мать, когда увидела, что деньги исчезли. Брат украл, а досталось Алешке. Мать каждый день ругала его, что не доглядел, что заранее не сказал, что Васька хочет сбежать из дома. Алешка знал, что брат собирался уезжать. Он давно мечтал, что после школы отправится на прииски и разбогатеет. Он давно стал готовиться к отъезду. Алешка видел, но молчал. Как он мог предать родного брата? И ни слова не сказал, что он сбежал. А мать стала его обвинять. Целый месяц впроголодь жили, когда остались без денег. И каждый день упрекала Алешку, а он не обижался – это мать, и сносил все ругательства, какими мамка награждала. Алешке терпел, и ему казалось – этим он спасает брата. И все годы скучал по нему. Сильно. Почти каждую неделю отправлял письма. Каждый день заглядывал в почтовый ящик. И редкие письма, какие он прислал, Алешка до сих пор хранил в своих книжках. И фотокарточку, где они вдвоем, еще мальчишками были, тоже сохранил. Алешка скучал по нему. Сильно. Это брат...

– Слышь, крючок, – так, привычно, как всегда было, обратился Василий к братишке. – Нечего сидеть, поехали на кладбище. Мать проведаю, – и, поднявшись, вытащил из сумки бутылку, покрутил башкой, потом забрал стакан и положил в пакет. – Давай, шевелись. На такси поедем.

Сказал и направился к двери.

– А ты надолго приехал? – сказал Алешка, до этого молчавший. – Оставайся, Вась. Вдвоем-то куда веселее жить, чем одному. Вместе станем жить.

Алешка переоделся и направился вслед за братом.

Спускаясь по лестнице, Васька оглянулся на него, посмотрел на потрепанные брюки, на туфли с побитыми носами, большую по размеру куртку, которой старался скрыть горб, как волочил ногу, и нахмурился, аж складки пролегли над бровями.

– Посмотрю, сколько проживу, – он взглянул на часы, стряхнул невидимую пылинку с рукава. – Может, вообще останусь или обратно уеду. Теперь никто и ничего не держит меня. Посмотрю, – повторил он и, выскочив из подъезда, заторопился к дороге, где мелькнула машина, пронзительно свистнул, замахал рукой, останавливая такси и распахнув дверцу, громко крикнул. – Эй, крючок, шевели копытами!

И неторопливо уселся на заднее сиденье.

... Васька подгонял братишку, но Алешка медленно шагал по кладбищу. Здесь нельзя торопиться. И шуметь не нужно. А Васька шел и во весь голос о чем-то

говорил. Алешка нахмурился. Одернул брата, но тот не обратил внимания, продолжая говорить. Они шли по главной аллее кладбища. Это огромный город. Царство мертвых. Улицы, переулки, кварталы, центр и окраины. И могилы... могилы... Могилы, где лежат молодые и старики, взрослые и младенцы. Все нашли здесь покой. Алешка издали заметил высокий красивый памятник-стелу – это ориентир. Добравшись до него, он свернул в проулок. Зашагал по узенькой тропке, направляясь к дальним кустам, что росли на окраине кладбища. Он разглядывал надписи на памятниках, а брат, позвякивая бутылкой, чертыхался, подгоняя его...

Некоторые могилы были ухоженные, в цветах и кустах сирени или рябины, а над некоторыми памятниками росли березки – светлые и чистые. Другие могилы были беднее – металлические низенькие оградки и такие же памятники. Кое-где стояли покосившиеся от времени простые деревянные кресты. И возраст у всех могил разный. От недавно захороненных людей, где видна свежая земля и новые венки, лежавшие горою по краям оград, и до старых захоронений. На памятниках, которых, едва заметны были надписи. Всех собрала в одном месте старуха с косою – смерть...

Алешка неожиданно остановился и показал на маленький холмик.

– Пришли, – сказал Алешка. – Это мамкина могилка.

Васька долго смотрел на простенький деревянный крест, на маленькую фотокарточку в овальной рамке, с недоумением всматривался, потом стал оглядываться, словно что-то искал и повернулся к Алешке, который стоял позади него.

– Хочешь сказать, что мать стала такой? – удивленно сказал Васька и ткнул пальцем. – Здесь же старуха!

И снова стал всматриваться, словно не узнавая мать.

И впервые за много лет, Алешка не выдержал. Держась за соседнюю оградку, он попытался немного распрямиться и искоса взглянул на старшего брата.

– А ты, Васька, вспомни, сколько лет домой не приезжал, – и кивнул на могилу матери. – Вспомни, когда в последний раз видел мать. Ты много знаешь, как мы жили? Ты хотя бы раз поинтересовался, что нам нужно, в чем нуждаемся. Ни разу не спросил! Ты больше хвастался, сколько денег зарабатываешь, сколько пропиваешь в ресторанах, куда ездил, сколько потратил. Тебя интересовали деньги, а не мы с матерью. Мать получала копейки и я пенсию, а она с этих денег даже умудрялась тебе отправлять переводы, и ты не отказывался, потому что тебе всё мало было, сколько ни дай, – и он отвернулся, махнув рукой. – Мы никогда не обращались к тебе за помощью, пока мать не заболела. А когда заболела, я отправил письмо, что нужны деньги на лечение, помоги, брат, если есть возможность, а ты не ответил, будто не получал его. Видать, деньги пожалел для матери. А сейчас стоишь и делаешь вид, будто мать не узнаешь. В старуху превратилась она. Да что говорить-то, всё равно не поймешь. Эх, брат...

И Алешка махнул рукой и отвернулся.

Васька башкой закрутил, взглянув на него. Не понравилось, что младший брат ткнул его носом. Сильно ткнул, всей мордой да еще повозил, словно наждаком проехался! А кто он такой, чтобы упрекать? Ваське не понравилось, что горбун, которого презирал, которого, можно сказать, за человека не считал, на него голос повысил. Васька нахмурился, но в душе оправдывал себя. Да, получал переводы. Да, тратил. И письмо приходило, но даже мысли не было, чтобы помочь. Если отправляли деньги, значит, у них была такая возможность, чтобы ему помочь – этим успокоил себя. Он достал бутылку. Налил. Выпил. Опять налил полный стакан и, не предлагая брату, опрокинул в два глотка. Чутьочку плеснул на доньшко и поставил стакан возле креста. Рядом положил кусочек хлеба. Закурил и принялся осматривать городское

кладбище. Мать была похоронена на окраине. Вокруг кустарник разросся, изредка тополя стояли, вон кто-то елку посадил. Вымахала. А там, где центральная дорога, красивые, большие памятники, оградки – одна лучше другой. Видать, что там ухаживают за ними. А здесь простенькие памятники или кресты и ограды дешевенькие. У матери только холмик и крест. Ограду не поставили. Кольшки вбиты с четырех сторон, проволока натянута и все на этом.

– Слышь, крючок, а когда собираешься ставить ограду с памятником? – Васька глотнул из бутылки и поморщился. – Фу, дрянь!

Сказал, передернул плечами и поморщился.

Склонив голову к плечу, Алешка помолчал, потом ткнул.

– На этой неделе сорок дней будет, как мать похоронили, – сказал он, кивая. – Земля не просела. На следующий год нужно ставить. Сделаю, если деньги накоплю.

– А что, такие большие деньги нужны? – с удивлением на лице, сказал старший брат. – Ты пенсию получаешь и, как мать говорила, сапожником работаешь.

И снова приложился к бутылке.

Алешка промолчал. Брат прекрасно знал, что все деньги уходили на лечение матери. Обращались за помощью, когда она заболела, но Васька ни копейкой не помог. А лекарства, какие выписывались бесплатно, в аптеках не было. Приходилось самим покупать. Остальные деньги уходили на продукты. Так и перебивались с хлеба на воду...

Пока старший брат допивал водку, Алешка неторопливо подправил могилку, где земля успела осыпаться за это время. Тряпкой протер крест и фотографию. За оградой, куда он ходил к колонке, набрал небольшой букетик полевых цветов – мать любила, вернулся, и поставил в банку. И опять прислонился к соседней оградке, молча наблюдая за братом, который сидел на камне, испачкав костюм, бутылка валялась рядом, он курил, о чем-то спрашивал, и тут же сам себе отвечал.

– Васька, поехали домой, – затормозил Алешка. – Поднимайся. Вон, костюм перемазал. Айда, дома почистим.

– Ты, Лешка, дурак, сволочь и гад, – погрозив пальцем, брат поднялся, пошатываясь и, даже не попрощавшись с матерью, побрел к выходу. – Знаю, что меня осуждаешь. А кто ты такой, чтобы меня осуждать, кто? Ты есть пустое место для меня. Понял? Что ты сделал для меня в жизни? Ничего! – медленно, по слогам сказал Васька и принялся громко свистеть, останавливая машины.

– А что ты сделал для нас с мамкой? – не удержавшись, буркнул Алешка и еще сильнее скособочился. – Ничего...

– Чего сказал? – нахмурившись, Васька поглядел на него и неожиданно намахнулся. – Как врежу промеж глаз, ни одна реанимация не примет. Залазь в машину, убогий! Ишь, хозяином почувствовал себя. Ничего, я приехал, теперь быстро на место поставлю. Не посмотри, что брат. Да и какой ты...

Он оттолкнул Алешку, уселся в машину и захлопнул дверцу.

Алешке не хотелось с ним ругаться. Он молчком уселся в машину.

...Уже дома, скинув туфли в зале, Васька содрал с себя пиджак, ослабил узел галстука, сдернул его и бросил на пол, как и пиджак, в дверях спальни упала рубашка и, пошатываясь, он упал на кровать и громко засопел, протяжно всхрапывая во сне.

Алешка собрал раскиданные вещи, и аккуратно положил на табуретку возле кровати. Все пакеты и сумку, которые до сих пор валялись в прихожей, отнес в спальную и поставил возле кровати. Прошел на кухню. Достал из морозилки маленький кусочек мяса, в половину ладошки величиной, вспоминая слова матери – «Лишь бы запах был», и принялся варить простенький суп, пока брат спит. Проснется, надо его накормить. Все же, он голодный. С дороги. Проголодался. А потом, когда

приготовил, взял книжку и принялся читать, изредка прислушиваясь к громкому храпу. Потом достал чистое полотенце, новое мыло, поколебался, глядя на свои рубахи и трико, что лежали на полке, хотел предложить Ваське, но зная, что тот еще с детства был брезгливым, махнул рукой и снова взялся за книгу.

За стеной раздался грохот, донеслась витиеватая брань и визгливый женский голос. Опять сосед, дядя Валера напился. Теперь будет весь вечер буянить. Никакого покоя от него. Лишь бы не дрался с женой, с тетей Ириной, а то соседи вызовут милицию и отправят его в вытрезвитель. Ночку подержат у себя, чтобы протрезвел, потом выпустят. Он, пока до дома доберется, опять в стельку напьется и снова начнет скандалить. И так, чуть ли не каждый божий день, как говорила мать. Где только деньги берет на водку – непонятно...

В дверь негромко стукнули, потом еще раз и, не дожидаясь, когда откроют, кто-то толкнул дверь и донесся скрип половиц.

Алешка повернулся в сторону двери. По шагам узнал, что пришла соседка.

– Алешка, ты дома? – раздался скрипучий старческий голос и, отодвинув портьеру, в зал заглянула старушка невысокого роста, юбка до пят, линия кофта неопределенного цвета, а поверх наброшен байковый халат. – Здравствуй, сынок! Это к тебе приехали гости? А кто? Утром выглянула в окно, смотрю, а в наш подъезд заходит видный мужик с пакетами и сумкой. Думаю, к кому это приехал? А потом слышу, в вашу дверь заколотил. Думаю, зараза, весь подъезд разбудит. Это кто нагрянул?

Утирая впавший рот сухонькой ладошкой, сказала старушка и с любопытством стала осматривать квартиру, а потом прошла и уселась на скрипучий стул возле стола.

Было заметно, что здесь привыкли ходить друг к другу.

– Здравсте, баб Липа, – искоса взглянув, протяжно поздоровался Алешка и положил книгу на диван. – Это старший брат приехал, Васька. Не узнала, что ли? Я тоже не сразу признал, когда дверь открыл. В подъезде темно было, а Васька еще кепку на глаза надвинул. Думал, ошиблись дверью...

– Правда, не признала, – округлив глаза, закачала головой старушка. – Вымахал-то как! Здоровущий стал, а видный – страсть! Стока годков не приезжал, а теперь надумал. А не поздновато ли спохватился? Раньше нужно было про мамку думать, а она его каждый день ждала... – она помолчала, опять внимательно осмотрела зал. – Он спит, что ли? Солнце к закату, а он дрыхнет. Голова будет болеть. Так и скажи ему. Наверное, гулеванил, – а потом закрутила головой. – А гостинцы привез? Что-то не вижу. Ну-ка, похвастайся, Алешка...

– Нечем хвастаться, – прижавшись к спинке дивана одним боком, сказал Алешка. – Да мне все равно, что привез. Я не интересовался. Главное, что сам приехал.

– Правду говоришь, Алешка, – старуха закивала головой. – Главное, что приехал, тока слишком поздно появился. Раньше нужно было приезжать, пока мамака жива была, – и снова с любопытством стала осматриваться. – Лешка, а что же ты не поглядел, что брат привез? А вдруг что-нить нужно в холодильник убрать или сразу скушать, чтобы не спортилось, а ты сидишь и ничего кроме своих книжек не видишь. Жалко ведь, если придется выкидывать. Денежки за это уплочены. Давай, вместе взглянем, а?

И старуха уставилась на Алешку, не отводя взгляда.

– Ох, баб Липа, ну, ты и любопытная, – коротко засмеялся Алешка, глядя на старуху, и мотнул головой. – Не могу – это не мои вещи. Вот Васька проснется, пусть и разбирает свои сумки.

Старуха разочарованно всплеснула руками.

– А куда ездили? – не унималась баба Липа и махнула рукой. – Я в окно заметила, как в машину садились. Могли бы на автобусе, а они, как бары... Такие деньжищи коту под хвост выбросили! Чать, много прокатили, да?

Она осуждающе покачала головой и принялась, шевелись впавшими губами, наверное, пыталась подсчитать, сколько денег пустили на ветер.

– На кладбище ездили, к мамке, – сразу нахмурившись, покосился Алешка, вспоминая пьяного брата. – Там посидели и вернулись. Васька немного перепил. И с дороги устал. Вот и разморило. Спать улегся. Пусть отдыхает, – он махнул рукой и сказал. – На следующий год, если скоплю денег, оградку и памятник поставлю. Я уже присмотрел. Хороший видел, красивый! Вот бы поставить...

– Это хорошо, если сделаешь, – закивала головой старуха. – Я вот тоже наказ своим дала, когда снесут меня на мазарки, чтобы поставили большущий крест. Как зачем? Я же маленькая. Меня не видно. Мимо пройдут и не заметят, а крест будет стоять, так издаля увидят. Не промахнутся, ежели придут на родителей. Ну, а не придут, значит мало ума вложила в их бошки.

И старуха обиженно поджала и без того тонкие губы.

Алешка засмеялся, взглянув на ее лицо.

– Баб Липа, что рано хоронишь себя? – сказал Алешка. – Ты уж сколько лет про этот крест говоришь. Я еще мальчишкой был, но помню, как ты рассказывала. И сейчас одно и то же. Ты не бойся, не забудут. У тебя дети хорошие, – сказал и помрачнел, оглянувшись на спальную. – А вот наша мамка...

Сказал и запнулся, услышав, как в спальне закрипела кровать.

– А что наша мать? – из спальни донесся хрипловатый после сна голос брата и, растирая лицо ладонями, он появился в дверях. – Хочешь сказать, что я виноват? Ты жил с матерью. С тебя спрос, почему она умерла...

Алешка нахмурился и вздрогнул, с удивлением посмотрев на старшего брата.

– Что ты... что ты говоришь, бесстыдник? – замахала руками баба Липа. – Алешенька – умница, безотказный. Дни и ночи не отходил от мамки, за ней ухаживал, когда заболела. Недоедал и недосыпал. Ну, а ты...

– Не нукай, не запрягла, – перебивая, сказал Васька и хмуро взглянул на старуху. – Ты кто такая, чтобы указывать, а? Пришла в гости, вот и сиди, а не нравится – вали отсюда! Ишь, привыкли, как к себе домой приходят. Кто звал тебя? Шагай... Шагай отсюда!

Повышая голос, Васька махнул рукой, показывая на дверь.

Алешка заерзал на диване. Поднялся. Сделал несколько неуклюжих шагов и встал, загоразивая старуху и исподлобья, искоса взглянул на брата.

– Васька, не ругайся в доме, – нервно передернув плечами, сказал он. – Баба Липа – это мамкина подруга...

Васька достал сигареты. Закурил. И поморщился, когда дым попал в глаза. Замотал головой и чертыхнулся, а потом намахнулся на брата.

– Как врежу, ни одна реанимация не примет, – стал повышать голос Васька. – Мне плевать – подруга или нет. Матери не стало, значит, нечего к нам приходиться, – и ткнул пальцем в старуху. – Сама на ладан дышит. Ей давно пора быть на кладбище, а она до сих пор воздух портит. Тоже мне, подружка нашлась...

Он приоткрыл балкон, не выходя, плюнул с него, следом вылетел окурок и Васька охнул, схватившись за голову.

– Ой-ёй, – вздохнула баба Липа, покачивая головой, махнула рукой и пошла к выходу. – Два родных брата, а небо и земля. Ну, да Бог тебе судья, Васька!

– Иди-иди, – отмахнулся Васька. – Тоже мне, судья нашлась. Иди, и без тебя голова раскалывается.

И опять схватился за голову.

Баба Липа поднялась и, продолжая осуждающе покачивать головой, вышла, осторожно притворив дверь.

Васька долго ходил по квартире, ругая брата, бабу и всех соседей. Всех обвинял, и ни одного плохого слова в свой адрес. Видать, считал себя правым...

Алешка молчал. Сидел на диване и молчал. Искоса поглядывал на брата. Отводил взгляд, если тот смотрел на него и словно меньше росточком становился, если брат подходил и начинал махать кулачищами, того и гляди заденет. Наконец-то, дождавшись, когда успокоился старший брат, Алешка поднялся, вытащил из шкафа чистое полотенце и положил на стол.

– Василек, – так, словно в детстве, Алешка назвал брата. – Бери полотенце и иди в ванную. Искупайся с дороги. А потом покушаем. Я суп приготовил, пока ты спал. Тебя жду, чтобы вместе покушать. Суп вкусный получился!

И Алешка причмокнул.

Васька, нахмурившись, исподлобья взглянул на него. Постоял, раздумывая, видать, решал, что делать, потом молчком взял полотенце, новое мыло в упаковке и скрылся в ванной комнате. Он долго плескался, о чем-то ворчал, иногда матерился – громко и всяко, а потом неожиданно замурлыкал под нос. Видать, настроение появилось. Побрился. Вышел, вытирая вспотевшее лицо. Подтянул трико, подошел к занавешенному зеркалу, откинул тряпку и долго смотрелся в него, поигрывая мышцами – любовался собой. Пригладил волосы и направился на кухню.

– Ну, корми, крючок, – сказал он и с грохотом придвинул табуретку к столу. – Чем угощать-то собираешься, а? Красную икру подашь или свиные отбивные?

И засмеялся, довольный.

Скособочившись, Алешка покосился на него, но ничего не сказал. Нарезал черствый хлеб, поставил перед братом щербатую тарелку с супом, где плавали разваренные рожки, виднелась картошка, кругляши моркови да изредка мелькал поджаренный лук. Отдельно в тарелочке поставил нарезанный огурец, а рядом на стол положил несколько зубчиков чеснока.

– Кушай, Васька, – сказал он, немного налил для себя и тоже присел с краю стола. – Сварил, пока ты спал. Вкусный.

– Уже заметил, какой вкусный, – буркнул Васька. – Прямо, как в ресторане!

Брезгливо поморщившись, Васька помешал в тарелке, поднял ложку, в которой одиноко лежал маленький кусочек мяса. Опять зачерпнул, посмотрел на разваренные рожки. Потом отодвинул тарелку, взял кусочек огурца и захрустел.

– Н-да, негусто, – буркнул он и принялся отщипывать маленькие кусочки хлеба. – С такого супа морда шире не станет – это точно, но и подохнуть не получится. Вот поэтому ты такой дохлый, а может у тебя всё в горб уходит? Глянь, он не по дням, а по часам растет.

Он ткнул пальцем в большой горб, который, как казалось, стал еще больше за время его отсутствия, хохотнул, зацепил кусочек огурца и снова захрустел.

– Последние деньги на похороны ушли, – покосившись, сказал Алешка. – Даже занимать пришлось. Ладно, соседи помогали, а то бы совсем было худо. Поэтому в холодильнике пусто. Ничего, проживем! Вот ты вернулся домой, теперь всё наладится.

– А с чего ты взял, что я останусь? – удивленно покосившись, сказал Васька и, попробовав суп, брезгливо почмокал, пробуя на вкус. – В этой дыре жить, в этом свинарнике, откуда сбежал? Я вернусь, но к себе, – и принялся хвастаться. – У меня большая квартира, новенькая машина, теплый кирпичный гараж. У меня есть всё, что душе угодно, а баб, вообще – от Парижа до Алтая мне готова дать любая. Все бабы

мои будут, если захочу. И каждая из них хочет выйти за меня замуж. У меня столько было, что тебе не снилось. Понял? А у тебя есть баба, крючок?

Васька привычно обозвал братишку и хохотнул, заметив, как он смутился

– Нравится одна, – запнувшись, сказал Алешка, не поднимая головы, и принялся хлебать суп. – Хорошая девушка...

Брат закатился. Тыча пальцем в Алешку, он смеялся, махая рукой, мол, мели Емеля, твоя неделя. Потом вытер слезы, взял сигарету и закурил за столом, стряхивая пепел на блюдечко.

– Посмотри на себя, крючок, – он пренебрежительно отмахнулся. – Ты же горбатый! Башкой подумай, ведь ни одна нормальная баба не согласится с тобой жить. А как же ты будешь с ней того... – он покрутил в воздухе рукой, как бы намекая, потом схватил огурец, принялся жевать и пробубнил. – Хотя... Может, и она такая же, как и ты – крючкообразная?

И захохотал, хлопая ладонями по столу, того и гляди тарелка свалится.

Алешка нахмурился. Обидно стало, что брат обзывает и унижает его. Обидно было, но Алешка промолчал. Пусть болтает, лишь бы не ругался и не размахивал кулачищами.

– Почему – такая? – продолжая хмуриться, искоса взглянул Алешка. – Она хорошая. Добрая. И нормальная...

– Дуры нормальными не бывают, – небрежно отмахнулся Васька и усмехнулся. – Скажешь – хорошая! Только настоящая дура может жить с таким калекой, как ты, потому что нормальная девка рядом с тобой не сядет. Ты погляди в зеркало, на кого похож. Если мне понравится девка, она станет моей – это точно. А тебе нравится – это еще не значит, что она будет твоей. Она никогда не станет твоей, потому что ты... – он грязно ругнулся. – Понял, крючок?

Васька разговаривал грубо. Для него брат давно уже стал чужим. С самого детства, можно сказать. А потом, когда уехал, вообще отвык за долгие годы. Абсолютно отвык! Это не брат, а чужой человек. Он покосился на Алешку. Для него друзья были куда ближе, чем мать и брат. Уехал из дома пацаном. Сразу после школы сбежал, а сейчас уже взрослый мужик. Получается, что большую часть своей жизни он прожил один, без семьи. Даже вспоминая школу, когда учился, Васька почему-то стеснялся своей матери, не говоря уж о брате – инвалиде. Мать, сколько он помнил о ней, всегда была тихая, забитая жизнью. Ни с кем не спорила, не ругалась. Все помыкали ей. Не успеет прийти с работы, а уже торопится на другую. Всегда в старенькой одежде, неприглядная, маленькая, шупленькая. Пройдет мимо, и не заметишь, не обратишь внимания. Серая мышь, как говорят. Васька не любил, когда она приходила в школу. Робко постучится в дверь. И стоит, опустит глаза и молча слушает, как учительница жалуется на него. А домой вернется, не ругается, лишь взглянет с укоризной, покачает седой головой и всё. И братишка, Алешка, в нее пошел. Взглянуть лишний раз боится, не то, что слово сказать, а тем более поругаться. А он... Ему почему-то стыдно было, что у него такая семья. И друзей не приводил в дом. Стеснялся, что живут небогато, что у них всего лишь маленький телевизор и проигрыватель с кучей старых пластинок – это осталось от отца, который сбежал от них, когда они в садик ходили. А на все вопросы об отце, Васька отвечал, будто он был подводником и погиб при исполнении боевого секретного задания. Даже картинку из какого-то журнала вырезал и всем показывал. И сам поверил в то, что придумал. Верил и всем хвастался, пока кто-то не притащил в школу старый журнал, а там была такая же картинка подводника. Весь класс... Нет, вся школа смеялась над ним, над его враньем. Он злился. Дрался. Иногда плакал, забившись под лестницу или забравшись на чердак. Мать вызывали в школу. Она долго слушала, а Васька стоял

рядышком и смотрел на нее. Учительница жаловалась, что он обманывает, с ребятами дерется, уроки прогуливает и про отца носом ткнула, а мать ничего не сказала, даже не заступилась за него. И после этого Васька стал тихо ненавидеть свою семью, стыдиться мать и бить брата. Старался избегать с ними куда-нибудь ходить, где-то бывать. Ему лучше было с друзьями. С ними весело. А дома – тоска зеленая. И поэтому Васька стал после школы уходить к друзьям, а возвращался затемно. Иногда приходил с запашком. Мать покачает головой, сядет и тихонечко начинает плакать, а он только сильнее злился, глядя на ее слезы. И в итоге, кое-как дотянув до выпуска, он утащил деньги у матери, и с другом уехали из дома. Он решил стать богатым. Таким, чтобы все завидовали, таким, чтобы все боялись его, таким... Васька вздохнул. Да, он добился. Правда, чтобы добиться, опять пришлось обманывать. Всем говорил, будто остался без родителей, а часть документов украли. До сих пор не мог понять, почему поверили ему, почему стали помогать. Сначала выучился на курсах, а потом его определили на работу, хотя, как он видел, многие уезжали ни с чем. А ему нашлась работа. Потом квартиру дали. А когда почувял, что на ноги встал крепко, вот тогда-то и показал себя во всей красе, показал свой характер. Ну, а мамка с братом... Они остались там, где-то далеко, где-то в прошлом, о котором он старался не вспоминать. Да, приезжал домой. Показал матери и брату, с какой легкостью расстается с деньгами, разбрасывая направо и налево, но матери ни копейки не давал. Он приехал в гости и его должны, нет, обязаны кормить, поить и выполнять все его прихоти. Да и бывая, он большей частью проводил время с друзьями в ресторанах и кафе, а потом с девками пропадали, но возвращаясь домой, не чувствовал вины перед матерью и братом, а словно так и должно быть. Бывало так, что на обратную дорогу мать давала деньги, а он брал и спокойно уезжал, чтобы там, где живет, похвастаться перед друзьями, как здорово он гулял, что даже денег на билет не осталось. Мать долго терпела, а потом попыталась образумить его, но Васька психанул, что сует нос в его жизнь. И, разругавшись с ней, он сказал, что больше домой не вернется. И ушел, хлопнув дверью. А мать и брат... А зачем о них думать? Это лишняя головная боль. Чем больше он зарабатывал, тем меньше ему хотелось общаться с семьей. И Васька перестал с ними общаться. Отдельвался редкими письмами, открытками, а потом вообще замолчал, но переводы, какие присылала мать, он получал. Значит, они живут хорошо, если присылают...

– Васька, почему говоришь, что девчонка, которая мне нравится – дура? – донесся голос, и Васька помотал башкой, с недоумением посмотрев на братишку. – Аленка хорошая. Сам убедишься, когда с ней пообщаешься. Она такая, такая...

Алешка не смог объяснить, какая Аленка, лишь рукой махнул и опять взгляд в пол, и замолчал.

– Какая Аленка? – поморщившись, раздраженно сказал Васька. – Да мне наплевать на нее. Дура, она и в Африке – дура. Тоже мне, выискался женишок – калека. Ишь ты, размечтался! Скажи еще, что жениться собираешься...

Отмахнулся и закурил, стряхивая пепел куда ни попади.

– Я бы женился, если бы она согласилась, – так, едва слышно сказал Алешка. – Она, как свет в окошке. Так мамка говорила...

Прижавшись к стене, Алешка искоса посмотрел на брата. Он привык, что некоторые люди глядят на него с презрением, когда он шел по улице, другие с жалостью, оборачивались вслед, а были, что просто не замечали, мимо пробегая, а может специально делали вид, что его не замечают – он не знал. А вот Аленка – она другая. Не такая, как все. Сначала она приходила к матери, делала уколы, бегала в магазины или в аптеки. А его всегда называла «женихом». Потом стала просто так приходить. Забежит после работы. Матери поможет. Мимоходом Алешку потреплет

за вихры, прижмет к себе и «женихом» назовет и скажет, что нужно подстричь. На следующий день прибежит, принесет машинку, пострижет, поможет голову помыть и все так просто, так легко, словно всю жизнь знали друг друга. А потом Алешка стал ее ждать. Каждый день ждал, что сейчас постучит в дверь, откроет и в квартире светлее станет от её улыбки. И всегда ждал, когда «женихом» назовет, а он – «невестой». Вроде в шутку говорили, а всё равно на душе становилось тепло, и сердце колотилось – быстро, с перебойми. Непривычно было признаться самому себе, но Алешка нравилась. Сильно нравилась! Привязался к ней, а вот, что полюбил – он старался избегать этого, не хотелось признаваться даже самому себе, но... Страшился, потому что таких, как он, любить нельзя. Их презирают в худшем случае, и жалеют – это в лучшем случае и не более того. Любить такого – это как в мультике «Аленький цветочек». Правда, в мультике чудовище становится красавцем, а его, целуй – не целуй, он был и останется калекой и никем более. Алешка всё знал и понимал, а сердцу-то не прикажешь. И поэтому было тяжело, что Алешка рядышком с ним, а он... А он молчал, но всегда ждал, когда придет Алешка и тогда начинал переключать книжки на столе, что-нибудь переспрашивать, запинаться, если его спрашивали и невольно краснел, Алешка замечала это и смеялась, называя «женихом», и ерошила и без того разлохмаченные волосы. И мать заметила. Обрадовалась. А потом, почти перед смертью, мать тихонечко сказала Алешке, чтобы она не бросала его. Алешка смутилась. Плечиками пожала и сказала, что Алешка хороший, но сейчас еще рано на такие темы разговаривать. И заторопилась домой, а на следующий день опять появилась, и словно никакого разговора не было, пробежала мимо Алешки, называя «женихом», трепала за вихры и посмеивалась. А Алешка втайне мечтал, что врачи придумают что-нибудь и он вылечится, станет нормальным, как все люди и тогда... И тогда перед глазами проплывали картины одна лучше другой, где они вместе с Алешкой идут по улице, а люди смотрят на них и улыбаются. А они идут, взявшись за руки, и никого вокруг не замечают, только они вдвоем, глаза в глаза, а впереди у них долгая и красивая жизнь, где они будут вместе. Вместе и на всю жизнь, чтобы никогда не расставаться. И так было всегда, когда приходила Алешка...

– Не говори так, Васька, – покачиваясь, сказал Алешка. – Не говори, если не знаешь человека...

– Ты еще станешь меня учить, – опять взъерепенился Васька, резко отодвигая тарелку. – Даже пожарить не можешь приготовить. Фу, помой! – и поморщился.

– Алешка, что за шум, а драки нет? На весь подъезд раскричались, – хлопнула дверь, и в прихожей раздался голос, послышались быстрые шаги, и на кухне появилась невысокая стройная девушка, одетая в простенькое платье, с волосами до плеч, которые были собраны в пучок, в ушах мелькнули капельки – сережки да на шее виднелась тоненькая цепочка. Она остановилась в дверях и пристально взглянула на Ваську. – Как я поняла – это Василий, твой старший брат? – она кивнула и едва заметно улыбнулась. – С приездом, Василек! А я – Алешка. Надеюсь, Алешка обо мне рассказал. Он такой молчун! Слово из него не вытянешь. Как дела, жених? – и провела ладошкой по его волосам, приглаживая. – Алешка, пора тебя подстригать. Вроде недавно стригла, а ты опять оброс. Ладно, машинку принесу и подравняю. А что столько грязной посуды накопилось? Ну ладно, я вымою.

Алешка принялась расспрашивать Алешку и его брата, как провели день, а заодно сразу взялась за мытье грязной посуды, продолжая посматривать на них.

Вздернув брови, Васька с удивлением, даже с недоумением посмотрел на нее: красивая, стройная, хоть и наряд простоватый, но улыбка, а глаза... они словно отдельно были, и смеются, когда смотрит, и темнеют, если хмурится, и чертенята мелькают, и еще что-то такое было, чего не мог себе объяснить. Они притягивали –

это он почувствовал. И такого с ним никогда не было. Васька затряс башкой, взглянул на Аленку и снова замотал и, услышав звонкий мелкий смешок, неожиданно смутился и опустил голову, чего не ожидал от себя. Ну, никак не ожидал!

– Это... Тьфу ты, аж слова растерял, когда на тебя взглянул, – он чертыхнулся, а потом заулыбался, посверкивая золотым зубом. – Откуда взялась такая красивая? Аж сердце ёкнуло, когда взглянул на тебя. Послушай, Аленка, может, вечером прогуляемся?

Васька сказал развязно, чтобы немного в себя прийти от удивления. Потянувшись, ухватился за тонкое запястье.

Аленка нахмурилась. Отдернув руку, она шагнула в сторону, прислонилась к стене, а потом погрозила пальцем.

– Я не девка с улицы, чтобы со мной разговаривать так, – сказала она. – Сначала научись говорить, а потом будешь приглашать. У меня подруги есть, чтобы гулять, а нужно будет и «жених» появиться.

– Хочешь сказать, что он появится? – ухмыльнулся Васька, ткнув пальцем. – Скажи, что может дать тебе этот жених – инвалид? Ничего, кроме головной боли! А я могу дать, потому что у меня настоящая жизнь, не чета этой. А хочешь, всё сделаю для тебя? Как сыр в масле будешь кататься. А с ним, с этим женишком...

Васька снова ткнул в брата и пренебрежительно отмахнулся.

– Как сыр в масле... – взглянув на него, сказала Аленка. – Алешка может дать больше, чем ты думаешь. У него широкая душа...

– Да ну, широкая... – Васька снова отмахнулся. – У него душа, а у меня всё остальное. Это у меня есть всё, что твоей душе угодно, – продолжая усмехаться, сказал он. – А чего нет, достану или куплю. А одними словами и обещаниями сыт не будешь.

И Васька кивнул на брата, который сидел, не поднимая головы, и не вмешивался в разговор.

– Это ты сидишь и обещаешь, – звонко засмеялась Аленка. – Правильно говорят, что язык без костей. Вот и мелешь, что ни попади – куплю, достану... К примеру, если человеку не дано любить – это он не достанет и не купит, потому что это должно быть в душе, в его сердце, а не деньгами мерить, как ты делаешь, – и дотронулась до Алешкиного плеча. – Жених, чем будешь кормить свою невесту? Ух, проголодалась! Весь день на ногах. Умоталась! Даже пообедать не успела. Думала, к вам прибегу, что-нибудь придумаем.

– Я суп приготовил, – искоса взглянул Алешка. – Сейчас налью.

И хотел подняться, но Аленка придержала его.

– Сиди-сиди, женишок, – сказала Аленка и взяла тарелку. – Сама налью. Алешка, нужны деньги. Сорок дней на этой неделе. Продукты нужно купить. Я бы сбегала на рынок и по магазинам, всё бы закупила, чтобы тебе не мучиться.

– Деньги в серванте лежат, – Алешка кивнул головой. – Забери. А я с баб Липой поговорю, чтобы помогла с сороковинами. Может, еще кто-нибудь из соседей поможет. Справимся. Вот и Василек приехал. Мамка рада будет, что её не забываем.

Аленка присела рядом и, понемногу откусывая черствый хлеб, принялась быстро кушать, нахваливая Алешку за вкусный суп. Потом поднялась, плеснула чай в стакан, неторопливо выпила и, взглянув на них, принялась подгонять.

– Так, братцы-кролики, живенько поднялись и марш с кухни! – скомандовала она, уперев кулачки в бока. – Не путайтесь под ногами! Уйдите, я порядок наведу на кухне. Идите в зал, посидите на диване, поговорите по душам, вы же братья...

Алешка поднялся и направился в зал.

– О чем говорить? – ткнув пальцем в спину братишки, пренебрежительно сказал Васька. – Он двух слов связать не может. С ним хорошо молчать. Он ни слова не скажет, и я молчу. О, какая у нас познавательная беседа получается! – Васька расхохотался. – Вот с тобой поболтать – это другое дело. И поговорил бы, и... – он заулыбался, посверкивая золотым зубом. – А с ним... У него столько ума нет, чтобы разговаривать. Поэтому и молчит, как рыба об лед...

– Молчание – это золото, а вот болтун, как ты, находка для шпиона, – не удержавшись, сказала Аленка и захлопнула дверь перед старшим братом. – Не уважаю трепачей.

– Знаешь, Аленка, на это золото, что молчанием зовется, хлеба не купишь, – ехидно протянул Васька и скорчил рожу. – А я хоть болтун, как говоришь, но хлеб с маслом и сыром всегда имею, да еще икорка водится. А ты еще жизни не видела, а говоришь про неуважение. Фу-ты, ну-ты, как заговорила! Вообще, не нужно меня учить. Говоришь, что устала, тогда иди домой и отдыхай, а мы уж сами тут разберемся. Понятно?

Он приподнялся, и ткнул в сторону двери.

– Ты приехал скандалить, или брата навестить? – дверь приоткрылась, выглянула Аленка и, дунув, откинула волосы, нависшие над глазами. – Алешка соскучился. Всегда про тебя вспоминал и рассказывал, а ты...

– А тебе-то, какое дело? – недовольно буркнул Васька, достал сигареты и закурил, стряхивая пепел на книжку, которая лежала на подлокотнике кресла. – Ты в наши дела не влезай. Я с крючком сам разберусь.

Всяко обзывая брата, Васька злился. Сильно разозлился! Не привык, чтобы ему выговаривали в глаза, не любил, чтобы с ним спорили. Сюда приехал и не ожидал, что у брата – этого молчаливого калеки прорежется голос, когда появилась эта девка. Тоже мне, нашелся защитничек! Васька нахмурился. Хотя, если посмотреть, неплохая подруга. Есть в ней что-то притягивающее. Взглянет, аж мурашки по коже пробежали. Вроде ругается, а в то же время, почему-то хотелось её обнять. Сильно обнять и не отпускать! Чертыхнувшись, Васька взглянул на брата и пожал плечами. Инвалид, да еще такой тюфяк, что поискать нужно, а туда же, мечтает про Аленку. Наверное, думает, что зацепил девку, если женихом называет. Единственное, чем может взять – это жалостью, а Аленка, если она дура, может попасть на крючок этому крючку, как называл Алешку, а потом будет всю жизнь мучиться. Продолжая курить, Васька думал, поглядывая на братишку, потом на закрытую дверь кухни, где занималась уборкой Аленка, думал и размышлял, что будет, если он уведет девку. Неделя есть в запасе. Достаточно, чтобы уговорить. Не таких обламывал, а эта, хоть и языкастая, но простушка, если присмотреться. И одевается так себе. Много денег не зарабатывает, ухаживая за больными. А все бабы, как он знал по своему опыту, падкие на яркие побрякушки и ласку. Он снова посмотрел на Аленку, представляя её в будущем. И вдруг мысль мелькнула – шальная и неожиданная, а может взять и жениться на ней? И сам оторопел от этой мысли. А почему бы не жениться? Девка-то хорошая – это сразу было видно, тем более не избалованная. С такой заживешь, как у Христа за пазухой. И она будет ценить, и радоваться каждой мелочи. А, правда, что будет, если...

– Н-да, что-то я засиделся в четырех стенах, – потянувшись, задумчиво сказал Васька, заметив, что Аленка вышла из кухни и присела на стул, исподтишка взглянув на него. – Может, куда-нибудь сходить, а? Слышь, крючок, в кафе пойдешь?

Он знал, что младший брат откажется.

– Нет, не хочу, – прижимаясь к спинке дивана, покосился Алешка. – Что там делать? Покушать? Аленка приготовит вкуснее. Иди, если хочешь, а я дома останусь.

– Одному скучно в кафе, – поморщившись, сказал Васька. – Ни поговорить, ни посмеяться, а тем более что сидеть одному – это тоска зеленая, – сказал и неожиданно повернулся. – Слушай, Аленка, может, вдвоем сходим?

И сверкнув золотым зубом, подмигнул Аленке.

– Сходить можно, – качнув головой, сказала Аленка и, не удержавшись, съехидничала. – Правда, скучно будет с тобой. И разрешение у жениха нужно спросить. Да, Алешка?

И она засмеялась.

– Ох, языкастая! Со мной не заскучаешь. Я умею всё и даже больше того, – он сделал паузу и подмигнул. – У любого жениха отобью. Ну, сама убедишься, если согласишься, а не захочешь, все равно уболтаю. Не успеешь глазом моргнуть, как свадьбу сыграем, – хохотнул Васька и повернулся к брату. – Слышь, крючок, я думаю, ты не будешь против, если мы с Аленкой посидим в кафе или в ресторан заглянем?

Пожав плечами, Алешка искоса посмотрел на Аленку и вопросительно вздернул брови.

– А что у меня спрашиваешь? – он кивнул на Аленку. – С ней разговаривай. Я не муж, чтобы запрещать. Как скажет, так и будет...

И снова пожал плечами.

– Ишь, про свадьбу заговорил! Мне нужен муж, а не болтун. Муж, за которым, как за каменной стеной, как говорится, а не пустозвон, – неожиданно сказала, потом задержала взгляд на Василии, словно хотела что-то спросить, но не решилась, а виновато посмотрела на Алешку. – Алешка, не обижайся. Может, правда, сходить в кафе? Что-то я вымоталась. Забыла, когда отдыхала.

Сказала и тяжело вздохнула.

– Ну что, идем, – сразу заторопился Васька. – Посидим, музыку послушаем. С Алешкой ничего не случится. Пусть твой женишок дома сидит. Ему не привыкать, – и повернулся к брату. – Слышь, крючок, когда вернусь – не знаю...

Сказал и хохотнул, а потом поднялся и стал теребить Аленку, чтобы поторопилась.

Они ушли.

Алешка остался один.

Он походил по квартире. Подошел к сумке и пакетам, с которыми приехал брат, но не стал заглядывать. Оставил всё, как лежало. Его вещи, пусть сам разбирает. Подошел к окну. Постоял, посматривая на соседний двор, где играли ребятишки. Несколько машин стояло во дворе. Со стороны донесся крик. Это на футбольном поле. Наверное, ребята играют. За стеной снова зашумел сосед. Опять начнет буянить. Алешка вздохнул, взял книжку и устроился на диване. Он читал, но больше думал. О чем? Да обо всем. Прошное вспоминал, о матери думал, Аленка перед глазами вставала, и ухмылку старшего брата видел – злую и ехидную и пытался заглянуть в будущее, а будет ли оно – это будущее, Алешка не знал...

Васька вернулся на следующий день.

– Слышь, крючок, а всё же уломал Аленку! Знаешь, мы решили пожениться, – сказал он, едва перешагнув порог. – Вот сорок дней пройдут, а там подадим заявление. Не думал, что в наше время такие девки остались.

– Не успели познакомиться, и уже собираешься жениться? – Алешка пожал плечами. – Неделю поживешь, а потом бросишь, как всех своих девок? Разве можно жениться и жить без любви?

– О, гляньте на него, он любовь захотел! – не удержался, съязвил старший брат. – А может у нас самая настоящая любовь с первого взгляда?

– И Аленка согласилась? – недоверчиво сказал Алешка. – Она же такая... Такая, аж дух захватывает!

– Согласилась, – хохотнул Васька. – Ночь долга. Уломал Аленку. Не будет же она до старости в девках ходить. Сам подумай, крючок, к примеру, что будет, если бы она за тебя вышла? Ничего хорошего, потому что у вас нет будущего. А я дам всё, что душе угодно. Вот и поразмысли на досуге, а нужна ли она – эта любовь, если нечего дать? Одной любовью сыт не будешь. Ай, что с тобой говорить! Начитался своих книжек, а под носом ничего не видишь. И вообще, не лезь, куда тебя не просят, а то по шее получишь.

И Васька намахнулся, потом чертыхнулся и направился на балкон, доставая сигареты.

Алешка промолчал, лишь еще сильнее сторбился на диване, уткнувшись в книгу.

Вечером пришла Аленка. Подошла к Алешке, о чем-то спросила, он промолчал. Постояв возле него, Аленка хотела погладить по голове, как раньше бывало, подняла руку, но почему-то не решилась, лишь легонько, едва дотрагиваясь, провела по плечу и тихонечко отошла.

На сорок дней пришли соседи. Посидели за столом, добрым словом мать вспоминали, Алешку жалели, исподтишка поглядывали на Ваську и перешептывались. Ближе к вечеру, все разошлись, соседки убрались в квартире, помыли посуду и тоже ушли.

Следом за ними Васька стал поторапливать Аленку. Она несколько раз оглянулась на Алешку, который сидел на диване с книгой, а потом нерешительно подошла.

– Пойми, Алешка, мне нужно жизнь устраивать, – сказала Аленка.

– Да, понимаю, – не поднимая головы, сказал Алешка.

– Пойми, мы же с тобой шутили, называя друг друга женихом и невестой... – она не смогла продолжить и замолчала.

– Я всё понимаю... – сказал Алешка. – Да, конечно, шутили, потому что с такими не живут.

– Ну зачем так... – она вздрогнула. – Ты же молодой. Встретишь еще...

– А зачем? – он за долгое время впервые поднял голову, взглянул на нее, а в глазах боль.

Сказал, потом опустил голову и замолчал.

Аленка стояла рядом и не знала, что делать. Снова протянула руку, чтобы погладить его по голове, как прежде и не смогла. Опустилась рука, плетью повисла. Аленка медленно отошла, стараясь не шуметь, засобиравшись и вышла, тихонечко притворив дверь. Васька подошел. Хотел было что-то сказать, но махнул рукой и заторопился вслед за Аленкой.

Алешка остался один. Привычно взяв книгу, он устроился на диване и принялся читать. Медленно читал. Больше думал. Отложит книгу и смотрит в окно или еще куда-нибудь, а сам о чем-то думает. То нахмурится, то улыбнется и тут же снова хмурная насупинка пробежала по высокому лбу. Потом поднялся. Долго стоял возле иконы, словно о чем-то говорил, а может, просил. Подошел к фотографии матери, которая стояла в рамке на столе. И опять начался разговор. И опять улыбнется, нахмурится и снова улыбка мелькнула. Посмотрит на часы, о чем-то задумается и шепчет. И так почти до утра...

Ближе к обеду вернулись Васька с Аленкой. Постучали. Громко, требовательно, как любил Васька колотить в дверь. Но стояла тишина. Васька долго

копался в карманах, разыскивая ключ. Открыл дверь. Они зашли в квартиру. Прислушались. На кухне бормотало радио, но в квартире стояла тишина.

– Эй, крючок, отзовись! – привычно крикнул Васька. – Слышь, что хочу сказать...

Прислушался и пожал плечами, не понимая, куда делся Алешка. Он же оставался дома и вроде никуда не собирался выходить. Вообще, он старался дома сидеть, чем на улице бывать. А тут стоит тишина, которая удивляла Ваську и почему-то настораживала. Как-то непривычно было... Васька прошел в зал, заглянул в другую комнату, но брата не было. Пожимая плечами, повернулся и увидел, что Аленка стояла возле стола и держала в руках пустую рамку, где раньше была фотография матери. Ни письма, ни записки – ничего.

Младший брат пропал.

Алешку искали. Долго. Но бесполезно. С той поры его никто не видел. Но каждый год на могиле матери, где стояли красивый памятник и ограда, стали появляться живые цветы. Кто приходил и положил – этого никто не знает. Может, какая-нибудь старушка присела на лавку отдохнуть и оставила простенькие цветы, может просто прохожий, который мимо проходил и положил небольшой букетик, а может и...

Наталья ТРУШ. Кошка

Кошка орала на тополе во дворе несколько часов. Судя по тому, что спасать ее никто не спешил, она была бесхозной. Можно только догадываться, зачем животное полезло на дерево, в скособоченное, покинутое птицами воронье гнездо.

Странные существа, эти кошки. Одни умеют спускаться с дерева. А другие – нет. Вера специально позвонила своему приятелю, который много знал о животных.

– Верунчик, это как у людей умение плавать: одни – могут, а другие – нет!

– А ты... – Вера понимала, что это глупо, но решила все-таки спросить приятеля.
- Ты не мог бы ее ... снять?

– Ну, ты с ума сошла? Пусть эта кошка как залезала, так и слезает. Ты лучше скажи, когда мы увидимся. Я, между прочим, соскучился...

– Не знаю, – ответила Вера, и положила трубку.

Она посмотрела в окно. Кошка сидела так высоко, что женщина даже не прикидывала себя в роли верхолаза.

Вера позвонила по знакомому всем номеру «01». Диспетчер посочувствовала кошке, но ответила, что пожарные не могут выехать на такой вызов.

МЧС! Точно. Вера где-то читала, что они спасают животных. Она нашла в справочнике номер и позвонила.

– А где вы живете? – поинтересовались на другом конце провода.

Вера назвала адрес.

– Ну, считайте, что вашей кошке повезло, – сказал незнакомец из МЧС. - Мы почти рядом живем. Сейчас снимем вашу кошку.

Когда во двор Верино дома въехала машина с буквами «МЧС» на борту, кошка уже так ослабела, что даже не мяукала. Женщина зябла на осеннем ветру под тополем, и, как могла, подбадривала ее.

– Ну и где ваша животино? – Мужчина в синем комбинезоне с интересом посмотрел на Веру.

Он был таким огромным, и с такой доброй улыбкой, что та сразу поняла: у него все получится.

Она мотнула головой в небо, показав на тополь. В темноте кошку на дереве было совсем не видно.

Спасатель прикинул расстояние, открыл багажник и достал оттуда сумку-авоську. Вере объяснил:

– Чтобы удобнее было ее транспортировать. Ну, вперед!

Он легко залез на дерево. Вера следила за его передвижениями, задрав голову вверх. Спустя несколько минут с тополя посыпалась труха и мелкие веточки. Послышалось хрипловатое кошачье «Мяу!» и человеческое «Ой!».

Когда через несколько минут спасатель сполз с дерева и протянул Вере авоську, в которой бешено вращала глазами спасенная им кошка, женщина увидела, что лицо мужчины – от лба до самой шеи, - украшает огромная царапина.

– Это у вас не кошка! – сказал оцарапанный. – Это у вас Тигр. У меня есть аптечка, придется вам меня лечить.

Вера с изумлением смотрела на мужчину, который, несмотря на хамское поведение кошки, все-таки снял ее с дерева.

– Как вас зовут? – спросила она.

– Андрей.

– Вот что, идемте ко мне домой. Аптечка мне не нужна. Я сама медик, и все необходимое у меня есть дома.

Она шла впереди, показывая ему дорогу. Кошка болталась в авоське. А Вера совсем забыла, что ее нужно выпустить на улице.

Дома она вытряхнула кошку на пол. Животное тут же принялось себя облизывать. А Вера кинулась к холодильнику и плеснула в чайное блюдце молока из пакета. На дрожащих лапах животное подошло к блюдцу. Ело оно очень аккуратно. Так, что даже Андрей это заметил:

– Хорошая у вас животинка. Я на нее не обижаюсь.

Вера посмотрела на него и вдруг сказала:

– А кошка-то не моя! Она уличная...

Ей еще не приходилось видеть, чтобы мужчина так заразительно смеялся.

Потом они пили на кухне чай, и кошка ласкалась к ним по очереди, как будто благодарила. И раненый Андрей трепал теплую полосатую шубку. Он уже пять раз выслушал рассказ Веры про то, как она обнаружила кошку на дереве, как ждала, что кто-то будет ее спасать, как звонила пожарным и в МЧС, как потом ждала Андрея. У нее так и получилось:

– Потом я ждала тебя...

– А я тебя, – почему-то сказал Андрей ей в ответ.

Она не успела удивиться. Взяла трубку. Звонил ее приятель, тот самый, который про животных знает все:

– Ну, ты больше не злишься на меня? – спросил он. – Когда мы встретимся? Я скучаю...

– Никогда, – ответила Вера, влюбленно глядя на Андрея, который баюкал на руках чужую дворовую кошку.

ЭССЕ

Ефим БЕРШИН. На развалинах Вавилона

Я родился напротив тюрьмы. Стоило открыть дверь нашей развалюхи – и вот она, тюрьма. И когда я поутру выбегал с резиновым мячом на улицу, меня уже ждали. Заключенные приветственно махали протиснутыми сквозь решетки руками и кричали, предвкушая зрелище. Дело в том, что тюрьма хоть и выглядела старой и обшарпанной, но прямо возле ее стен была ровная, словно выглаженная утюгом, площадка, на которой мы целыми днями гоняли мяч. А эки были нашими преданными фанатами. Они дружно освистывали нас, когда мы не попадали в наспех устроенные из камней ворота и жидко аплодировали, когда мяч влетал туда, куда надо.

Конечно, я не понимал, что этими решетками наш мир, наш город разделены на две части. Да и трудно было понять, где проходит эта граница, потому что все постройки вокруг выглядели ничуть не лучше тюрьмы. Или даже хуже. Ведь я родился не только напротив тюрьмы – я родился среди настоящих развалин. И могло показаться, что город кто-то перепахал огромным бульдозером. Кому-то могло показаться. Но не мне. Откуда мне было знать, каким был город до войны? А о войне я узнавал, прячась под столом, потому что за столом мне еще не было места. За столом сидел отец. За столом сидели еще молодые, несколько лет назад вернувшиеся с фронта мои дядьки и соседи. Они пили водку и говорили о войне. А я ползал между ногами и учился считать. И у меня все время что-то не сходилось. Потому что на пять человек приходилось почему-то только восемь ног. Я выглядывал наружу, пересчитывал сидящих – их было пять. А ног всего восемь. Поэтому война входила в мое сознание безногой.

* * * *

Кстати, вполне может быть, что именно из-за этого у меня в школе потом не задались дела с точными науками. В частности, с арифметикой. Убедившись еще там, под столом, что в арифметике нет никакой логики, я окончательно махнул на нее рукой и переключился на другие, более естественные науки. Например, на суворовскую науку побеждать. Потому что побеждать надо было почти ежедневно именно в естественных обстоятельствах. Ведь мы целыми днями играли в войну на самых настоящих военных развалинах, среди которых запросто находили гильзы от патронов и даже неразорвавшиеся гранаты. Мы бросали жребий и делились на русских и немцев. Потом менялись. Потому что никто не хотел постоянно быть немцем. И воевали до темноты под ворчание соседей. Иногда кто-то подрывался на оставленной войной мине.

* * * *

Кстати, я не зря вспомнил про науку побеждать. Если я скажу, что наш Тирасполь основал Суворов, меня никто не поймет, так как все уже забыли, кто такой Суворов. А я помню. Потому что на центральной площади он до сих пор скачет на своем бронзовом коне, что далеко не всем теперь нравится. Некоторые предпочитают думать, что город основал кто-то другой. И не по указу Екатерины Великой, а по указу какого-нибудь короля из близлежащих земель. Но его все-таки основал Суворов. В 1792 году. Сначала турок побил, а потом основал. И даже не город, а только крепость. Город уже потом вокруг нарастил. Сам. По крайней мере, когда ведомства государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Пушкин А.С. был отправлен к главному попечителю колонистов южного края генерал-лейтенанту Инзову в Кишинев, а из Кишинева примчался в Тирасполь, город уже был. Конечно, Пушкина больше

интересовал не сам город, а именно крепость. Где под надзором генерала Сабанеева сидел пушкинский дружок Раевский. И Пушкин долго ходил вокруг крепости, но так ничего и не выходил. А от предложения генерала посетить крепость отказался наотрез. Не дурак же он был, в самом-то деле, добровольно голову в петлю совать. И умчался восвояси. Но это я уже потом узнал, когда худо-бедно грамоте обучился. А тогда я только играл в футбол и в войну.

* * * *

По воскресеньям мы шли на базар. И вдоль всей прибазарной улицы, чуть ли не через каждый метр, сидели безрукие и безногие фронтовики и просили милостыню. И нечего было им дать. Потому что мы только шли на базар. И я уже знал, что по дороге мы обязательно заглянем в мастерскую к безногому дяде Грише, другу детства моего отца, сапожнику. И в мастерской будет пахнуть свежей кожей. И мне подарят там пару маленьких сапожных гвоздей, которые обязательно пригодятся мне на той, дворовой войне. И еще я знал, что там же, у ворот базара, мы встретим балагулу Яшу, огромного, как его лошадь, с которой он постоянно ругался, как будто она была ему женой.

– О, ты уже такой большой, как почти моя лошадь! – кричал он, завидев меня. – Хочешь покататься на биндюге?

Вообще-то биндюга – это такая большая телега, на которой перевозили грузы из морского порта. Морского порта у нас не было, только речной, на Днестре, но большие подводы тоже называли биндюгами, потому что, как ни крути, а Одесса была совсем рядом, и у тираспольчан с одесситами образовался общий язык. Что не удивительно: ведь оба новороссийских города были основаны по одному и тому же указу императрицы.

– Хочу, – робко отвечал я, заранее зная, что на биндюге мне места не найдется.

– Нельзя, – огорчал меня Яша. – Ты же не товар! Ты же уже почти человек. А человек – не товар.

Конечно, в те времена Яша и предположить не мог, что человек таки да лет через сорок станет товаром. Что его будут продавать на рынке, как свежие помидоры на базаре. И что, если внимательно взглядеться, у каждого на груди можно будет разглядеть вместо ордена – бирку с ценником. Но тогда они этого не знали. Они были молодыми. И я никак не могу понять, почему они казались мне стариками. Эти «старики» по субботам, сменив рабочую робу на чистые пиджаки и рубахи, частенько собирались прямо в мастерской дяди Гриши. И снова говорили о войне. И снова пили. И снова спорили. А во дворе, оглушенные миром и тишиной, на наспех сколоченных лавках другие молодые еще фронтовики тоже пили. А напившись, рвали на груди рубахи, кричали и дрались в кровь. Иногда доводили дело и до смертоубийства.

* * * *

Любимым занятием было бегать по центральной улице за тележкой безногую Ваньку, который улюлюкал и строил рожи угрюмым теткам, волочившим тяжелые кошелки с продуктами. И при этом свистел так, что щеки лопались. Ванька слыл городским сумасшедшим. То есть был ли он сумасшедшим на самом деле – неизвестно. Скорее всего, не был. Но он был городским сумасшедшим как бы по должности. Просто была такая должность или такая роль – «городской сумасшедший». И Ванька эту роль исполнял с удовольствием.

Было Ваньке лет сорок. Но иначе как Ванька его никто не называл. К тому же у него совсем не было ног. Совсем. Тело его заканчивалось чуть пониже живота. Дальше ничего не было. Была самодельная, сбитая из нескольких коротких досок тележка на подшипниках. И на этой тележке, как привинченный, он гремел по центральной улице, отталкиваясь от асфальта двумя половинками городошной биты. В глазах у него обычно жила какая-то жутковатая решимость, ничего хорошего не сулившая, тем более что из-под грязной, найденной, очевидно, на помойке шляпы выползал широкий шрам, пересекал лоб и прятался в густой щетине, которая начиналась чуть не у самых глаз.

– Дамочка! – орал он, начиная свой концерт где-нибудь у дверей винного магазина. – Что ты так бежишь мимо, как будто я у тебя отнял наследство? Подумаешь, я ей не купил цветы. Возьми себе на клумбе. Я растратился. – И доверительно сообщал сгрудившимся вокруг мужикам: – Я строю во дворе новую уборную. Как в Америке, с водопроводом и без щелей. Чтобы не стыдно было людей пригласить.

Дамочка, конечно, улепетывала со всех ног, зато вокруг Ваньки начинала собираться публика. Мужики, выходящие из магазина, подносили стаканчик кисленького. Жуликоватые подростки, пытаясь приобщиться к Ванькиной славе, подначивали:

– Ваня! Ваня! Вон еще одна идет.

– Не-е, – кривил рожу Ванька. – Она же не с нашего переулка. Вы слышите, мадам? – орал он на всю улицу. – Я на вас даже не смотрю! Я на вас закрываю свои глаза. Лучше я буду смотреть на памятник Тарасу Шевченко. У него усы больше.

Толпа бессовестно ржала.

– Идиёт, – огрызалась мадам, которую жестокая жизнь отучила от комплиментов еще лет двадцать назад. – Посмотри на себя у зеркало, если оно у тебя еще есть. Если нет, заехай до Аркаши в парикмахерскую. Там есть зеркало. Но тебя туда не пустят. Таких даже в парикмахерскую не пускают.

– Он сбежал с больницы, – поддерживала мадам всегда неожиданно появлявшаяся баба Маня с Рыбной улицы. – Там есть место для безногих придурков.

– Что?! – радостно вздергивался Ванька, как будто ему в топку подбросили дров. – Она думает, что если она скоро умрет, так может что хочешь говорить заслуженному инвалиду без ног.

Подходил красномордый участковый Толик и брал одной рукой под козырек, а другой – стаканчик кисленького.

– Смотрите, люди! – заходила баба Маня с Рыбной. – Это одна шайка!

– Что можно спросить, – поддакивала мадам, – если они вместе пьют эту кислятину? Это одна шайка.

Впрочем, Ванькины концерты бывали непродолжительными. Поохотав вволю, толпа расходилась по своим делам, а Ванька оставался один. Честно говоря, именно этот момент мне и был интересен. Я стоял за одним из высаженных вдоль дороги пирамидальных тополей и, высунув голову, наблюдал, как менялось Ванькино лицо. Городской сумасшедший на глазах тускнел, опускал плечи, уменьшался в размерах и

медленно, как недопиленное бревно, катил в первую попавшуюся подворотню, тщательно собрав в холщевую сумку остатки закуски.

Кажется, никто не знал, где он живет.

Однажды он заметил, что я подглядываю за ним, и поманил меня пальцем. Я осторожно подошел, но на всякий случай остановился метрах в четырех.

– Не бойся, пионер, – непривычно тихо сказал Ванька. – Ты чей?

– Я?

– Ты, ты. Как твоя фамилия?

* * * *

Когда умер дед, меня взяли с собой на кладбище красить буквы на мраморной плите. Шершавый могильный мрамор пожирал кисточки почти мгновенно. Грубая свиная щетина уменьшалась так стремительно, как будто ее срезали ножницами. Уже третья обезглавленная кисть валялась неподалеку. Но я продолжал ожесточенно сражаться с каждой буквой в отдельности, закрашивая выемки всеми имеющимися у меня средствами. Наконец, закрасив последнюю букву, я отступил на несколько шагов, чтобы оценить собственную работу. С могильной плиты, сверкая свежим серебром, на меня глядела моя фамилия.

* * * *

Кстати, у бабы Мани с Рыбной была дочка Инна. И ее, когда пришло время, баба Маня решила выдать замуж за достойного человека, как тогда говорили, с твердой профессией. Человеком с твердой профессией оказался Жорик – местный столяр с рынка, который в маленькой мастерской виртуозно выстругивал окна и двери для сельских домов. А кроме того, вооружившись стамеской и не обращая внимания на торговки, самозабвенно гонялся по рынку за должниками – как правило, деревенскими и нищими.

Но дело не в этом. Дело в том, что я тоже попал на эту свадьбу, потому что родителей позвали, а меня девать было некуда. Было мне уже лет двенадцать, но сказать, что свадебная церемония произвела на меня неизгладимое впечатление, никак не могу. Ну, жених с невестой. Ну, свадьба под брезентовым тентом прямо во дворе. Ну, гости. Говорили о каких-то скучных и непонятных для меня вещах, иногда хором запевали на русском и на идиш. Попадались даже украинские и молдавские песни. Оркестра, конечно, никакого не было. По тем временам оркестр был невиданной роскошью, и бабе Мане он был явно не по карману, как и «достойному человеку с твердой профессией».

Оркестра не было. Но между столиками бродил одинокий аккордеонист, который за малую плату играл и пел по заказу гостей. И тогда я увидел этого человека. Он сидел напротив, увешанный орденами. И у него не было глаз. Совсем не было глаз. Вместо глаз – два тонких надреза. Но из этих щелочек удивительным образом лились слезы. То есть, глаз не было, а слезы были. Время от времени неуверенным жестом слепого он подзывал к себе аккордеониста, совал ему в руку мелочь и заказывал одну и ту же песню. Аккордеонист играл и пел «О, койфчен, койфчен папиросн». А слепой плакал. Когда песня заканчивалась, он опять совал аккордеонисту мелочь и опять плакал. И так много раз. Он отдавал свои последние деньги, этот слепой, для того, чтобы плакать.

* * * *

В общем, город наш казался мне в детстве целым материком. И, наверно, это так и было. Пока он постепенно не начал превращаться в маленький остров, на котором мне уже было мало места. А может, он с самого начала и сформировался именно как остров, который нелепая судьба прибывала то к одному, то к другому берегу. О чем и говорят его история с географией.

Город впадал в Днестр, Днестр впадал в Лиман, Лиман впадал в Черное море, Черное море переходило в Средиземное, а Средиземное становилось частью океана, омывавшего берега Европы, Африки и Америки. И обратно.

Пока в Америке шел дождь, здесь уже все высыхало, а когда на Волге начиналась засуха, в городе как раз шел дождь. Поэтому всегда был повод испытывать чувство превосходства.

– И как они живут в такой Тмутаракани среди голых индейцев и сплошных пингвинов?
– любил блеснуть эрудицией безногий Ванька. – Я на них просто удивляюсь.

Город всегда был столицей мира. Но тайной. И мало кто об этом подозревал. А как, с другой стороны, можно было подозревать, если столицу мира прячут куда-то на задворки большой страны, где она не имеет возможности громко о себе заявить. Даже если миллионера вырядить в лохмотья, его не пустят на порог собственного банка, не говоря уже о высшем обществе, где выпивают и закусывают такие же миллионеры, как он сам. Если, конечно, этот миллионер – не актер местного театра Сеня Бобокер, который даже в лохмотьях мог выглядеть как принц.

Так вот: тут была столица мира. Больше того сказать: здесь был настоящий Вавилон. Но наоборот. Потому что в Вавилоне из одного языка Бог сделал много языков. А здесь из многих языков он сделал один. Потому что так было удобнее. И Богу, и людям. Здесь, кстати, тоже была башня. Но водонапорная.

Когда-то давно, еще в девятнадцатом веке, основатель местного почтамта господин Иванов-Полянский и зачинатель городской аптеки господин Горфинкель-старший заплатили заезжему историку, немцу Фрицу Хойзерну, целых пятьдесят рублей, чтобы он выяснил наконец, сколько и какого народа здесь перебивало, потому что сами они уже не могли разобрать, кто есть кто. И не случайно почти двести лет спустя местный начальник милиции, рискуя погонами, сделал робкую попытку отменить национальность совсем. И его можно было понять, этого начальника. Потому что если тебя зовут Николай, отчество у тебя Соломонович, а фамилия Гайдаржи, то походи разберись, кто ты такой. Здесь уже давно никто не мог отличить болгарина от еврея, армянина от поляка, а немца от русского.

И этот, кстати, Фриц Хойзерн обнаружил, что в окрестностях города и в нем самом по очереди и вместе проживали в разные времена скифы, левкины, греки, вестготы, тиверцы, уличи, печенеги, половцы, гемузы, крымчаки, турки, мадьяры, литовцы, поляки, немцы, евреи, запорожцы, русские, румыны, французы, армяне, болгары, молдаване, цыгане, гагаузы и много еще кто. Был, как выяснилось, даже один негр, но он почему-то не дал потомства.

Ошарашенные таким изобилием, господа Горфинкель и Иванов-Полянский на собственные деньги открыли музей, заведовать которым поставили того самого Фрица Хойзерна. И надо сказать, что этот самый Фриц Хойзерн тут прижился

настолько, что таки дал потомство совместно с гимназисткой выпускного класса Машей Пушкарь, о чем было немало кривотолков. Уже в наше время директором музея работал его прямой потомок в девятом колене некто Иван Домовой, по национальности числящийся запорожским казаком, но без всяких усов и без чуба. Он, скорее, был похож на крымчака, этот Иван Домовой. Или даже на крымского караима. Причем, на караима с подчеркнутой немецкой педантичностью и неутолимой цыганской жадой что-нибудь спеть или украсть.

Как всякие столичные жители, местные не признавали никаких авторитетов со стороны, потому что в городе и без того хватало авторитетов. Если даже по радио, например, объявляли, что скоро повысят цены, все равно все шли к Аркаше в парикмахерскую, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Если Аркаша говорил «да», значит, было да, а «нет» – так нет. Правда, был еще и официально назначенный начальник города, о котором многие слышали, но мало кто видел. Он был не местный. И горожане принимали его как что-то неизбежное, на что невозможно никак повлиять. Как дождь или ветер, как большую лужу на центральной площади или на худой конец, как городскую канализацию: запах неприятный, конечно, но без нее тоже нельзя.

Впрочем, в городе был один собственный неисправимый бунтовщик – рыжий сапожник Яша, у которого было то ли семь, то ли восемь детей, таких же рыжих, как он сам. Он был такой бунтовщик, этот Яша, что хуже Парижской коммуны. Он всегда был недоволен всеми властями, которые перевидал на своем веку. А перевидал он немало. Потому что ни одна даже самая маленькая война не проходила мимо города. А после того как она проходила, город обязательно от какой-нибудь страны отсоединяли и присоединяли к какой-нибудь другой. И так много раз. Но с другой стороны, этот Яша был большой оптимист:

– Если нас все время к кому-нибудь присоединяют, – рассуждал он, – так значит, мы еще кому-нибудь нужны.

И после такого вывода возле его сапожной будки продолжала разыгрываться всякая жизнь. А там, где разыгрывается всякая жизнь, начинаются всякие ограничения. Конечно, в стране была какая-то конституция. И раз в год по поводу этой конституции был выходной день. Но что в ней написано, в той конституции, никто не знал. Говорили, правда, что там подробно, как в Талмуде, объяснялось, что можно делать, а что – нельзя. Но граждане и так знали, что можно, а что нельзя. В городе как-то сам собой выработался некий кодекс, затрагивавший глобальные вопросы жизни и смерти. И редактор газеты Григорий Самуилович Перебийнос в качестве смелого эксперимента даже напечатал некоторые его пункты, почти каждый из которых начинался со слова «человек»:

– человек не должен кушать с ножа, потому что будет злой, как собака Миши-Собакова, которую он хотел продать за Днестр в прошлом году, но никто не купил;

– человек не должен кушать из разбитой посуды, потому что может поломать себе всю жизнь;

– человек не должен класть на стол подушку с кровати, потому что может умереть ни в чем не виноватый сосед;

– человек не должен класть на стол гребешок, потому что будет болеть голова;

– две женщины не должны смотреться в одно зеркало, потому что будут любить одного мужчину, и хорошо, если он холостой, потому что при чем тут бедные дети;

– человек не должен катать по улице пустую бочку, потому что все дома опустеют, и что тогда будет;

– человек не должен заглядывать в чужое зеркало (без комментариев).

Тут же содержались некоторые рекомендации. Например: обязательно мыть зеркало, если в него заглянул кто-то чужой, а после большого застолья скатерть непременно вытряхивать на улице, чтобы никто не завидовал и не сплетничал. А главное – под клеенку кухонного стола обязательно класть рубль, чтобы в доме всегда были деньги и достаток.

Конечно, это далеко не полный перечень правил, по которым жили горожане. Но и этого бы хватило, тем более, что все они носили исключительно гуманный характер и служили конкретной пользе. В том числе и пользе чисто медицинского характера. Иначе среди них не было бы рекомендации не поминать человека всуе, чтобы он не икал. Или такой, например: если человек серьезно заболит, он должен купить собаку. Потому что собака забирает к себе его болезнь, и человек выздоравливает. Но существовал еще и особый нравственный кодекс, который описать словами просто невозможно. Он был какой-то внутренний, то есть его как бы не было, но он был. И за его выполнением тщательно следили авторитетные люди – уже упомянутый парикмахер Аркаша, Маня с Рыбной улицы или, к примеру, полковник Николай Соломонович Гайдаржи, который, хотя и занимал государственный пост, но пользовался безусловным уважением как местный урожденный.

И поэтому, когда Маня с Рыбной или Николай Соломонович останавливали на улице пьяного или выговаривали тому же городскому сумасшедшему Ваньке, никто их не осуждал. Все понимали, что они правы, потому что кто как не они будут правы?

* * * *

Известно, что память существует для того, чтобы ее не было. Потому что если она есть, то жить невозможно. Иногда бывает лучше все забыть и жить так, как будто ничего не было. Кажется, в городе это понимали если не все, то многие. В конце концов, по праздникам здесь дрались, пили и гуляли до полного беспамятства. А вся местная юность еще и отплясывала на танцплощадке. Сначала под аккордеон, а позже даже и под оркестр. Танцплощадка была заветным местом для многих, поэтому по субботам и воскресеньям на нее устремлялась вся молодежь города. Меня, правда, на танцплощадку еще не пускали, поэтому я наслаждался зрелищем со стороны. А посмотреть здесь всегда было на что, потому что сами по себе танцы служили лишь прикрытием напряженной лирической жизни, какая бывает лишь в неопределившиеся молодые годы. Короче говоря, здесь разыгрывались подчас такие любовные драмы, каких на сцене своего театра не мог бы поставить и сам режиссер городского театра Фима Кукес. Поэтому даже известные концерты безногого Ваньки не всегда здесь приходились к месту. И тем не менее что-то его сюда тянуло.

– Смотри, как они дергаются! – выступал Ванька, показывая пальцем на танцующих. – Как будто их побил ток. Если бы у меня был рубильник, я бы их выключил.

– О! – потирали руки юные придурки, у которых не было на билет. – Ванька уже тут. Будет весело.

Весело, впрочем, было и без Ваньки. Танцплощадка, как будто и впрямь ее ударило током, ярким электрическим пятном скакала на холме в самом центре города. И когда начинались танцы, музыка была слышна не только у Аркаши в парикмахерской, чья витрина светилась тут же за углом, но и в самых отдаленных закоулках, где света вообще не было. И можно сказать, что по выходным дням ни один человек, хотел он того или не хотел, не мог остаться в стороне от этого праздника цветущей молодой жизни.

– Боо-жи мой! – заходился Ванька. – Какие ноги! Если бы у меня были такие ноги, я бы ходил на руках!

После такого штампованного комплимента ошарашенная девица, еще неопытная в уличных перепалках, заливалась краской и смотрела на Ваньку неодобрительно. Как и ее ухажеры. На моих глазах один из таких ухажеров, по всему виду, не местный, с высоты своего немалого роста оглядел Ваньку вместе с его тележкой и злобно заявил:

– А если бы у тебя были ноги, я бы тебя вместе с ними тут закопал.

Местные, конечно, тут же потащили парня к берегу выяснять отношения, потому что Ваньку в обиду не давали. А сам Ванька неожиданно дернулся на своей тележке и затих. И это было первый раз на моей памяти, когда он не ответил. Он не ответил и покатил в сторону от танцплощадки к деревьям и кустам.

Вообще-то я уже давно заметил, что представления у танцплощадки даются Ваньке меньше всего. Остроумие ему здесь отказывало. Но несмотря на это, каждую субботу он вновь и вновь карабкался на холм и устраивался прямо у ажурной металлической ограды, немного стыдливо замыкавшей в себе этот заповедник веселья и счастья.

– О, пионер, – узнал меня Ванька. – Ты уже тоже танцуешь? Тебе же еще рано.

Я что-то промычал в ответ и отодвинулся на всякий случай подальше. Ванька же откуда-то из недр своих лохмотьев достал смятую пачку папирос, закурил и тут же тяжело закашлялся. Откашлявшись, он вдруг спросил:

– Ты не знаешь, зачем они все скамейки на улицах льют из чугуна? У них так много чугуна, что надо лить из него скамейки? Чугун у них растет на клумбе! – Ванька хрипло засмеялся, отчего весь задвигался вместе с тележкой. И вдруг, резко переменившись в лице, прохрипел: – Нет, ты слышал, что он сказал? Он бы меня закопал! Кто он такой, что он бы меня закопал? И не такие, как он, закапывали. И что? Я еще здесь, а они где?

Еще раз глубоко затянувшись, Ванька продолжал:

– Ты знаешь, что здесь было раньше?

– Что?

– Они здесь закопали пять или даже десять тысяч.

– Кто закопал?

– Как это кто? Ты что, не знаешь, кто сюда пришел, когда была война? Ты думаешь, мои бедные ноги остались на фронте? Нет! Они тут лежат! – И он ткнул прокуренным потрескавшимся пальцем в сторону горящего танцевального пятна. – Эти люди, если это были-таки люди, согнали сюда почти всех евреев, кто не успел убежать. И меня тоже. Хоть я не еврей. А кому надо было выяснять? У нас тут все друг на друга похожи. Кому-

то повезло, и его сначала убили. Мне не повезло. Меня так закопали. Только ноги прострелили. Но ты видишь, я таки вылез, я откопался. А кто еще откопался? Никто! Весь этот холм шевелился, пока они наконец все не задохнулись. А я вылез. Я вылез, а ноги мои, наверно, тут лежат. Они танцуют на моих ногах, пионер! Как тебе это нравится? Они танцуют на костях. Они танцуют на своих бабушках и дедушках. И ничего! Земля таки не лопается! Не лопается земля! Ты слышал? Он бы меня закопал! Уже закапывали. Но она таки лопнет эта земля. Это тебе Ванька говорит, пионер. Она таки лопнет. Она этого не выдержит.

Загасив окуроч, Ванька тяжело поплыл на своем подшипниковом плоту вниз, с холма. Он плыл на этом маленьком плоту, как Ной, через разбушевавшийся океан музыки и веселья. Он был один на этом плоту. На нем больше никому не было места.

* * * *

В городе, кстати, много чего было. Причем не только сапожная будка рыжего Яши. И не только аптека и почтамт, оставшиеся в наследство от господ Горфинкеля и Иванова-Полянского. Не только.

В городе, помимо будки рыжего Яши, было еще девять сапожных будок и целый обувной цех при фабрике индивидуального пошива одежды, которым руководил назначенный сверху цыган Роман Пиртя.

Было целых пять заводов, один из которых – механический, две фабрики и три кинотеатра, причем один летний, без крыши. Кинотеатрами почему-то руководили исключительно поляки: Яновский, Янковский и Радышкевич-Коган. А еще был интересный драматический театр. Драматическим он был потому, что два раза горел. А некоторые, как, например, режиссер Фима Кукес, считали, что даже три. Этот Кукес, кстати, был уникальный режиссер. Он ставил такие спектакли, что люди или только смеялись или только плакали. Короче, заснуть он не давал никому.

Кроме того, в городе было два парка с памятниками, три памятника без парков, а также одна общественная баня в двух отделениях, впоследствии, после торжества цивилизации, переоборудованная в коммерческий ресторан «Европа».

Была одна тюрьма на Еврейской улице, а напротив – больница. И шесть парикмахерских, помимо той, где работал Аркаша.

Большой православный собор украшал, естественно, именно Соборную улицу. Точнее, угол Соборной и Базарной. Для немцев в свое время специально была построена кирха, для поляков – костел, для евреев – синагога. Потом, правда, не только собор, но и остальные культовые строения потеряли свое первоначальное предназначение. Православный собор превратился во дворец ритуальных услуг, где можно было оформить не только печальный конец, но и законный брак, означающий начало новой жизни. Синагога превратилась в мастерскую по изготовлению надгробных памятников, а костел вообще исчез с лица земли. И чем впоследствии занимались отец Федор, рэб Иосиф и ксендз Станислав, история умалчивает.

При этом многие поглядывали с завистью на чудом сохранившуюся на берегу старообрядческую церквушку. Ее закрыть не удалось. Старообрядцы, вооружившись вилами и топорами, встали стеной. И большевики временно отступили, решив не поднимать скандала. Зато там же, на углу Соборной и Базарной, высилась пожарная каланча, на вершине которой день и ночь ходил по кругу пожарный в полном

обмундировании. Даже когда в городе появились телефоны, пожарного оставили. И он так и ходил, пока не вошел в историю и его не стали в обязательном порядке показывать приезжим.

Что было еще? Было много еще чего. Например, паром, на котором горожане каждое воскресенье переправлялись на другую сторону реки, где, по общему мнению, шумел густой лес, хотя то, что шумело за рекой, настоящим лесом назвать было трудно.

Наконец, в городе было два базара, на которых торговали люди с другого берега, плохо, как считалось, понимавшие, чего от них хотят. Горожане смотрели на них свысока, но все-таки брали дешевые рыжие абрикосы, черный, как августовская ночь, виноград и нежную и податливую, как женская грудь, брынзу. Не забывая, естественно, попробовать. Пробовали все: арбузы, дыни, вишню и даже вино из бочонков. Впрочем, именно вино как раз и пробовали охотнее всего. Бывало, какой-нибудь пришибленный жизнью пьяница, придя без копейки, так попробует, что уходит с базара с перекошенными глазами. А вот, например, постное масло из семян подсолнечника пробовали так: сначала брали каплю на палец, потом – на язык, потом закатывали глаза к небу и, наконец, подносили палец к носу, словно боясь ошибиться запахом.

– Это не масло! – вдруг делала открытие солидная покупательница. – Та курица, что я купила у твоей соседки, по запаху больше масло, чем это масло.

– Так они же рядом лежали, – отругивалась торговка, – как ты со своим мужем двадцать лет назад.

– Что? – делала круглые глаза покупательница. – Нет, вы слышали? – призывала она в свидетели остальной базар. – Просто твой подсолнух рос в погребе. Или из него выковыряли семечки еще до того, как сняли урожай. Ну, хорошо, – примирялась она. – Почему?

– Два рубля.

– Два рубля! – Глаза покупательницы делались такие большие, что доставали до ушей. – За два рубля это точно не масло. Рупь пятьдесят – еще масло. А два – уже курица. – И она с большим достоинством уходила прочь, волоча в обеих руках здоровенные сумки.

Базар для горожан был не просто базаром. Это был отдельный мир, который хозяйки готовы были обсуждать с утра до вечера. Базар породил целую систему образов и понятий. Если, например, женщина шла с базара, встречные ее обязательно спрашивали:

– Ну что, кусается?

– Кусается, – вздыхала она в ответ. И все понимали, что речь идет о ценах.

– Маша, вы же хотели купить вишню на компот! – удивлялись всезнающие соседи, не обнаружив в Машиных авоськах вишню.

– Чтоб она ко мне смеялась! – следовал страстный ответ. Это означало, что такую вишню за такую цену Маша купить не собирается.

Если в какой-нибудь праздник на площади собиралось много людей, обязательно можно было услышать замечание:

– Народу, как на базаре!

– Что ты торгуешься? Ты не на базаре! – обрывали какую-нибудь зарвавшуюся спорщицу.

– Закрой свой базар! – кричали друг другу соседи, заканчивая очередной скандал на общественной кухне.

И праздник назывался базаром, и беспорядок назывался базаром, и скандал – тоже. И даже улица, на которой в прежние годы, как уже было сказано, размещались городская управа, православный собор и пожарная каланча, тоже называлась Базарная, хотя базар находился совсем в другом месте. Базар был везде и во всем. Даже в самом сокровенном. Когда человека, перевалившего средний возраст, спрашивали, сколько ему лет, он неизменно отвечал:

– Ну что вы спрашиваете? Вы же видите, что я уже иду с базара.

Накануне своего двухсотлетия весь город как-то незаметно для себя самого переступил невидимую черту и стремительно пошел с базара навстречу неизбежному.

* * * *

Он пошел с базара навстречу неизбежному, потому что как раз к его двухсотлетнему юбилею на окраинах упали новые снаряды и мины. Горожан пришли убивать. За то, что этот Вавилон, где все говорили на любых языках и все друг друга понимали почти без слов, отказался быть убитым. Но он умирает, этот Вавилон. Умирает, несмотря на то, что стал-таки отдельным государством, а тайная столица стала явной. Несмотря на то, что взамен разрушенных построены новые церкви и синагоги. Умирает, никем не замечаемый. И мне, неожиданно ставшему эмигрантом в своей стране, иногда кажется, что не только та тюрьма, напротив которой я родился, была тюрьмой. Тюрьмой стал весь город, уже четверть века закрытый за тюремными решетками блокады.

А люди? Да что люди? Кому они нужны, эти люди?

ВОСПОМИНАНИЯ

Ирина ШУЛЬГИНА. Слова запоздалые

*Вам, ушедшим,
посвящаю слова
раскаяния*

«Щелк-щелк-щелк», – поворачивается бородатый ключ в верхнем замке, «щелк», – вторит ему маленький ключик нижнего замка. Теперь нужно нажать ручку – и внешняя стальная дверь открывается. Но, чтобы войти в квартиру, этого недостаточно – за стальной дверью скрыта вторая – деревянная, слегка облупленная. Такими типовыми, крашенными в темно-коричневый цвет дверями были оснащены все квартиры нашего дома при его постройке.

Эта дверь верно служила нашему семейству долгие десятилетия, надежно охраняя наш маленький мир от внешних посягательств и чужих нескромных взглядов. Служит и до сих пор, открывая доступ в полутемную прихожую, где с давних времен, с самого начала здешней жизни семьи, стоит большое, в полный рост зеркало. Можно приблизить к нему лицо, сосредоточившись, взглянуться в темную глубину зазеркалья, и, затаив

дыхание, постараться услышать голоса тех, которые здесь жили, а теперь ушли в светлые, непостижимые, недоступные обители.

Пушкинский скупой рыцарь хранит в своем подвале сундуки с золотыми дукатами и драгоценными побрякушками. Сундуки в подвале моей памяти наполнены событиями семейной жизни, словами и фразами моих родных и моими собственными чувствами и переживаниями, которые они во мне в то время вызывали. И все это богатство – слова, события, чувства – нисколько не потускнело от времени, а помнится на удивление живо и ярко.

ДОМОЙ – ЗНАЧИТ, К БАБУШКЕ

Я сижу на раскопе на городище Старая Рязань и перебираю черепки, оставшиеся от глиняной посуды, принадлежавшей несчастным жителям погубленного Батыем города. Мне – пятнадцать лет, я закончила восьмой класс и уехала в археологическую экспедицию. Душно, пыльно, июльское солнце нещадно палит. Вокруг меня – мои сверстники или ребята чуть постарше, славные, умные, веселые, рядом с нами – взрослые археологи, увлеченные своей работой и очень доброжелательные к нам, школярам. Обстановка в экспедиции – дружная, режим нашей работы – щадящий, вечером нас ждет живое и интересное общение друг с другом, и юность увлекает нас в свое романтическое путешествие.

Но я почти не чувствую очарования этой поры, меня мало волнуют ее звонкие призывы, дружеские посиделки после работы, осторожные, робкие ухаживания мальчиков. Я отчаянно скучаю по дому и тайно считаю дни до отъезда, и вовсе не потому, что здесь мне плохо, или кто-то меня обижает, или неспособна работать на раскопе – совсем нет! Желание побыстрее вернуться домой необъяснимо и не поддается никаким разумным доводам: я просто – хочу домой! Домой – это туда, где маленькой, но твердой рукой правит хозяйством бабушка – мамина мама, невысокая, симпатичная, слегка пухленькая, постоянно озабоченная благополучием каждого члена семьи.

Вечером, после отбоя, я до носа накрываюсь одеялом, чтобы соседки по комнате не заметили моего унылого лица и не услышали, как я шмыгаю носом, стараясь удержать слезы. Обеспечив себе таким образом приватность, я начинаю грезить о нестерпимо желанном доме.

«Домой хочу, домой», – неслышно стону я, ворочаясь на панцирной сетке казенной кровати, и мечтаю о том, как бы уехать отсюда, оказаться в своей семье, укрыться под бабушкиным крылом. На расстоянии, отделяющем меня от дома и бабушки, ее ворчание, нотации, замечания кажутся мне совершенно справедливыми, не вызывают никакого подросткового неприятия, и я мысленно обещаю во всем ей помогать и слушаться.

Желание сбежать из экспедиции крепнет день ото дня, и наконец, природа, сжалившись, идет мне навстречу – у меня начинаются проблемы с желудком, и меня при первой возможности отправляют домой.

Остаток лета я, счастливая оттого, что вырвалась из чужой среды, провожу на даче, под высокими корабельными соснами, в обществе бабушки и маленькой сестры.

Август заканчивается, посыпает первыми желтыми листьями дачные дорожки, и мы уезжаем в Москву. Как только передо мной открывается коричневая деревянная дверь в нашу квартиру, во мне, как пузырьки в газировке, закипает радость – радость от возвращения в город, в ту пору – любимый до слез. Ничего страшного, что через пару дней придется ежедневно рано вставать, вечером сидеть за уроками, решать

контрольные и писать сочинения. Главное – я в Москве, приближающаяся осень покрывает золотыми листьями ее газоны, и каблучки моих туфель стучат по ее асфальту.

В нашу квартиру на десятом этаже, из окон которой открывается вид на горделивый шпиль Московского университета, родители со мной, пятилетней, въехали в середине пятидесятых годов. «Тогда был только университет, наш дом и больше ничего», – вспоминала мама. Ни метро, ни метромоста, ни умолкающих ни днем ни ночью проспектов, ни окрестных домов, ни Большого Московского цирка. Отдельная квартира с двумя большими, высокими комнатами, просторной ванной и светлой кухней была по тем временам отличным решением квартирного вопроса.

«Здесь жили две сестрички и так возненавидели друг друга, что готовы были поменяться на что угодно, лишь бы разъехаться» – объяснял папа удачный обмен своих и бабушкиных коммунальных владений в старой Москве на отдельную квартиру в тогда еще новом, продуваемом всеми ветрами районе Ленинских, а на самом деле Воробьевых, гор.

Мне в нашем новом жилье в целом понравилось, но больше всего меня пленил телефон – черная горочка с диском и ручкой, лежащей на рычажках – наш, только наш телефон, принадлежащий исключительно нашей семье. Я садилась возле этой горочки, стоящей на столике в прихожей, снимала трубку и пыталась поговорить с кем-то невидимым, сидящим внутри нее, но слышала в ответ только протяжный гудок.

Как печально, когда не с кем поговорить хотя бы по телефону, и когда единственное, что ты можешь услышать из трубки – это гудок! Такова была судьба и моей бабушки.

Все двадцать с лишком лет, что бабушка прожила в этой квартире «на верхотуре», она так к ней и не привыкла, и за настоящую Москву новое место жительства не считала. Ее сердце навсегда осталось в старой Москве, в Фурманном переулке, пологой дугой сбегающем от Садового кольца к Чистым прудам. Дочь и зять пытались ее разубедить, приводили разумные доводы о преимуществах отдельного жилья – бабушка эти доводы отвергала. Там, на Фурманном, в старом купеческом доме, в двух высоких светлых комнатах большой и дружной коммунальной квартиры прошла ее молодость. Там она жила с любимым и рано умершим мужем, там родилась ее дочка, а потом и я, ее внучка, там витали тени ее родственников, попавших в костоломное колесо тридцатых-сороковых годов.

«Какая у меня была квартира», – вздыхает бабушка, и я понимаю, о чем она говорит. В той квартире я прожила всего лишь несколько первых лет жизни, но хорошо помню комнаты с высокими потолками, со старинной тяжелой мебелью, помню радостное чувство от папиного возвращения с работы, помню ласковый голос мамы, встречающей меня с прогулки. Но ведь родители приходят только вечером, а целый день возится со мной бабушка – готовит, кормит, одевает, обихаживает.

Желание накормить, согреть, подарить тепло другому человеку было свойством ее души, ее даром, как у других – умение петь или рисовать. Она просто не умела иначе относиться к людям – и это чувствовали и мы, ее родные, и друзья дома. Понимал это и ее деверь, младший брат мужа, изгой, враг народа, потерявший за время магаданской отсидки свою семью и своих друзей. Освободившись после войны, он пришел жить именно сюда, в Фурманный переулок, потому что единственное, на что ему оставалось надеяться – это на участливое сердце свояченицы и на закуток за шкафом в одной из ее комнат.

От той жизни в любимом Фурманном у бабушки не осталось ни родных, ни друзей – никого, кому она могла бы позвонить и чей голос хотела бы слышать на другом конце провода. Кроме того, она с молодости плохо слышала, однако никаких

усилий к решению этой проблемы не прилагала, усилителями слуха пользоваться не желала, потому что никакой потребности в общении, выходящем за границу нашего семейного мира, не имела. Мы разговаривали с ней, несколько повышая голос, при необходимости повторяя сказанное. Это ее вполне устраивало.

– В тридцать шестом умер мой Михаилушка, через год арестовали Сюньку (ее деверя), в тридцать восьмом умерла Каля (их сестра), – говорит бабушка, вздыхая и загибая один за другим пальцы на руке – один, второй, третий. – Вся семья... Потом война, эвакуация, голод... Ну что у меня за жизнь!

Я, пятнадцатилетняя, отношусь к ее словам спокойно, сказать вернее – равнодушно. Юность сосредоточена на себе и почти не умеет сопереживать чужой печали, тем более что я слышу бабушкины вздыхания не впервой, и считаю их стариковским ворчанием. Сопереживание и сочувствие придут нескоро, – только после того, как жизнь мне самой преподаст жесткие уроки и научит меня понимать, что такое разлуки и потери.

– А вот хочешь, я расскажу тебе про свою любовь? – спрашивает она меня, уже повзрослевшую, саму ставшую мамой, но я нетерпеливо отмахиваюсь – мне некогда, я чем-то занята. Драматическую историю бабушкиной жизни, ее любви «к Михаилушке» я в общих чертах знаю и слушать это в очередной раз не хочу. Она обижается.

Модная нынче мысль о том, что «надо жить для себя», бабушке, по-видимому, была глубоко чужда. Она была просто устроена по-другому, ее натура была жертвенной по определению. Долгие годы она ухаживала за умирающим от рака любимым мужем, растила дочь, хоронила родных, выживала в эвакуации, потом – в холодной, голодной послевоенной Москве, потом растила нас с сестрой – своих внучек. Времени на свое личное счастье ей не осталось, но, похоже, она к нему и не стремилась. Ее счастье покоилось под тяжелым черным гранитным памятником на Ваганьковском кладбище, и никакого другого у нее быть не могло.

Она полностью растворилась в семье своей дочери, распоряжалась семейным бытом и все это мы воспринимали как должное, без особой благодарности, уверенные, что так и должно быть.

Мы не считались с ее мнением по любым вопросам, не касающимся бытовых проблем, мы отмахивались от ее замечаний, мы насмехались над ее старомодными, если не сказать старорежимными рассуждениями о том, как должна себя вести «девочка из приличного дома, а не беспризорница какая-нибудь». Она, конечно, обижалась и расстраивалась, называла нас черствыми и неблагодарными, и была, честно признаться, права!

– Баба, я уроки делаю, не мешай, – отрезает сестра в ответ на какой-то невпопад заданный бабушкин вопрос.

– Бабуля, куда вы дели мою рубашку? – гневно спрашивает отец, и она растерянно отвечает:

– Куда-то ткнула, а куда – не помню.

– Баба, ну отстань, – раздраженно кричу я в ответ на ее просьбу немного прибраться в комнате.

– Ирина, почему ты так отвечаешь бабушке? Ты как с ней разговариваешь? Не забывай – это моя мать, – резко и строго говорит мама, и я проглатываю язык, с которого готово сорваться очередное раздраженное словцо. Но на самом деле вины перед бабушкой я не чувствую, а просто опасаюсь серьезно поссориться с мамой.

Мама – главная бабушкина защита и опора. Привязанность этих двух маленьких, но сильных женщин друг ко другу несокрушима: они вдвоем пережили трагедии потерь, безвременных смертей, тяготы сороковых годов, и никто и ничто не может встать между ними. Для моей мамы, рафинированной интеллектуалки, блестящей выпускницы филфака МГУ, для моей мамы, всерьез считающей, что литература – наивысшее достижение человечества, с которым по важности ничего не может сравниться, – для моей мамы ее мать, закончившая только гимназию, не имеющая никакой специальности, прочитавшая в своей жизни от силы пяток книг, остается самым близким, самым понимающим, самым родным человеком. Со всеми своими проблемами – спорами с мужем, недовольством детьми, взаимоотношениями с подругами и сослуживцами, сложностями на работе мама спешит в первую очередь к бабушке. Они шепчутся в уголке, отгородившись от внешнего мира, и до меня доносится успокаивающий голос бабушки, готовой защитить свое дитя от всех зол и бед несмотря на то, что это дитя – взрослая, самостоятельная женщина, жена и мать.

«Кота, – еле слышно проговорит бабушка на смертном одре, называя свою дочку детским прозвищем, – Кота, как мне тебя жалко». Это – ее последние слова перед тем, как ее заберут в больницу, из которой она уже не выйдет, ее последняя тревога о любимом ребенке, остающемся без маминого догляда в полном опасностей мире. А может быть, эти слова – великое материнское прозрение, предчувствие страшной потери, которую спустя годы суждено будет пережить ее дочери?

Перед своим уходом бабушка несколько лет болела – у нее обнаружилась опухоль, которая считалась доброкачественной, но в конце концов свела ее в могилу. В то время мы с сестрой, оставив родительский дом, как выросшие птенцы – гнездо, отправились в долгое путешествие по своей собственной молодой жизни, поглощенные своими переживаниями, влюбленностями, удачами и неудачами, встречами и разлуками. Бабушка осталась где-то на периферии нашей жизни, воспоминанием о прошедших годах детства и ранней юности. Но когда мы на семейные праздники вновь слетались в родительский дом, бабушка изо всех оставшихся сил старалась одарить нас своим теплом, что-то кашеварила к праздничному столу и, сидя на полу, на ковре, играла с моим маленьким сыном, своим правнуком.

Я-то была уверена, что бабушка, к тому времени уже сильно уставшая на своем нелегком жизненном пути, будет довольно равнодушна к годовалому ребенку, поэтому умилялась, видя, как она трясет разноцветными погремушками перед личиком малыша. Но однажды она меня поразила.

Среди множества слов, которые мы говорим друг другу, случаются такие, которые врезаются в память и остаются там навсегда. Такие слова как-то раз я услышала от бабушки. Она, сидя на ковре среди разбросанных игрушек, вдруг подняла на меня свои темно-карие, оставшиеся молодыми, глаза, и сказала, будто в каком-то порыве: «Это счастье – иметь такого ребенка».

Я на пару секунд замерла. Эти ее слова стали для меня некоторой неожиданностью: бабушка всегда была довольно сдержана в проявлении нежных чувств. Не помню, чтобы она меня обнимала или целовала: ее забота о нас выражалась в основном в делах, а не в словах и внешних ласках. Но в той скупой фразе прозвучало столько любви и поддержки, что мне стало невыразимо тепло на сердце, и я до краев переполнилась молчаливой благодарностью. Однако выразить эту благодарность я не сумела, мой язык не повернулся сказать: «Баба, спасибо тебе, родная, за эти чудесные слова, за теплоту твоего сердца!» Единственное, на что меня тогда хватило – просто кивнуть ей в ответ, дескать, а как же иначе?!

Через несколько месяцев после этого бабушка умерла. «Доброкачественная» опухоль все-таки сделала свое дело. Жизнь потекла своим чередом. И теперь, когда мой

собственный путь приближается к концу, я все чаще вспоминаю бабушку, и все сильнее ощущаю свою вину перед ней. «Баба, – говорю я в надежде на то, что она меня слышит, – баба, прости меня! Прости, что в своей жизни ты не услышала от меня ни одного благодарного, ласкового слова, прости, что я не досказала, не дослушала, недопоняла, а может быть, не захотела понять. Услышь мою запоздалую благодарность за то, что ты была в моей жизни».

СВЕЧА ЛЮБВИ

Наша любовь изменчива – она то пылает, то успокаивается и горит тихонько, как маленькая свечечка, и, совсем было потухнув, вдруг вспыхивает с новой силой.

Я хорошо помню короткое лето на даче, когда я впервые детским разумением поняла, каким теплом, какой радостью наполняется сердце, когда в нем горит огонь любви...

Корабельные сосны важно покачивают своими зелеными гривами, упирающимися в небо. Они, очевидно, совершенно равнодушны к тому, что происходит у их подножия. Там свистят торопливые электрички, там натужно гудят и дымят паровозы, оставляя легкий сероватый налет копоти на столах и занавесках, там копошатся в своей нескончаемой суете люди – наше семейство: я, шестилетняя, бабушка, как всегда, командующая хозяйством, и мама, которая почему-то не уезжает на работу, как делала в прошлые годы, а живет с нами. Папа приезжает к нам на воскресенье.

У мамы почему-то вырос большой живот, и просторное светлое платье, на мой взгляд, очень красиво развеивается вокруг ее потолстевшей фигуры. Мы подолгу гуляем по улицам дачного кооператива, она рассказывает мне о своем детстве, о фильмах, о книгах, или просто разговаривает со мной о том о сем – ведь молодой женщине всегда есть о чем поговорить со своей шестилетней дочкой.

Любовь к маме заполняет все мое существо горячей волной. Я счастлива от ее постоянного присутствия, от наших прогулок и бесед, и память об этом сердечном пламени нисколько не потускнела во мне за долгие годы.

Через какое-то время мы почему-то съезжаем с дачи, хотя лето в разгаре, а еще через несколько дней в нашей семье появляется младенец – моя маленькая сестра с живыми карими глазками. Мама похудела, большого живота у нее больше нет, но этот факт меня нисколько не интересует. Новенькая девочка тоже пока нисколько меня не занимает, однако мне нравятся запахи младенчества, которыми наполняется наше жилище. Моя детская жизнь течет спокойно и ровно.

Наступили школьные годы, и мне пришлось выйти из теплого и безопасного семейного круга в большой, незнакомый и зачастую недружелюбный мир.

Теперь благодаря стараниям толпы психологов, расплодившихся, как грибы, на просторах Интернета, стало модным выискивать в собственных неудачах следы детских травм.

Думаю, что и у меня, выросшей в нормальной полноценной семье, тоже были детские психологические травмы и происходили они от общения с одноклассниками и учителями.

Ребенком я была застенчивым, робким и неловким, со сверстниками общаться не умела и учиться этому совершенно не хотела. Мне было вполне комфортно дома, с хлопотливой бабушкой, с внимательными родителями и книжками. Никакой нужды в приобретении подружек я не испытывала, играть в девчачьи игры категорически не умела. Все эти премудрости – прыгать через прыгалку, скакать на одной ноге в

«классики», увертываться от мяча при игре в лапту – были для такого увальня, как я, недостижимы. Родителей, и в особенности маму, это сильно расстраивало.

Мама с детства была человеком чрезвычайно общительным. Подруг у нее всегда было много, а еще больше – поклонников. «Мне нужно было, чтобы все мальчишки в классе были в меня влюблены. Не кто-то один, а – все! И так и было», – вспоминала она свои школьные годы. Нелюбимость собственной дочери приводила ее в недоумение. Она пыталась меня знакомить с дочерьми своих подруг или соседей по даче, но ничего не помогало: мне было куда интересней сидеть в компании родительских друзей и слушать их взрослые разговоры.

Но в период моего взросления в младшей и средней школе у моих родителей со мной были проблемы и посерьезней. Училась я в тот период очень средне, а порой – откровенно плохо. Особым камнем преткновения для меня была арифметика. Я ничего не понимала в решении задач и примеров, мучилась с устным счетом, и чем дальше, тем больше увязала в болоте этого непонимания. Наконец к шестому классу я скатилась на круглые тройки.

Мама, всегда блестяще учившаяся, приходила в совершенное отчаяние из-за моих школьных неудач. Она, с детства и до последних дней жизни всегда первая – и в школе, и в университете, и на редакторской работе, и в переводческих трудах, хотела, чтобы и ее дети были во всем лучшими, и когда я в шестом классе перед новогодними каникулами принесла дневник с самыми жалкими результатами, она восприняла это в молчании. И это молчание было хуже, чем выговоры и ругань – в нем было ледяное спокойствие и откровенное презрение. Наша любовь затрещала, как свечка, готовая погаснуть.

Тогда за дело решил взяться папа, прирожденный педагог. Каждый день он садился со мной решать задачки из начинающегося курса алгебры, и, будучи гуманитарием до мозга костей, каким-то образом сумел что-то переформатировать в моей голове. Там будто переключился некий переключатель, туман в мозгах рассеялся, и я вдруг – ПОНЯЛА! А поняв, – полюбила, и как паровозик, стала разгоняться на путях преодоления школьных премудростей и докатилась до золотой медали.

Эта медаль стала маминим триумфом. Кажется, она радовалась ей больше меня самой. Ледок в наших отношениях к тому времени полностью растаял, мы стали близки даже не как мать и дочь, а как близкие подруги. Как-то раз я слышала, как мама, что-то объясняя бабушке, сказала про меня: «Да это – подруга моя», и от этих слов я преисполнилась радости и гордости. Я ездила с ней в поездки по старинным русским городам, я принимала участие в дружеских посиделках их редакции, я старалась не ударить в грязь лицом перед этими горделивыми филологинями, с подростковым снобизмом демонстрируя свою начитанность и понимание житейских проблем.

Последние годы нашей совместной жизни после ухода сестры и отца, не были полностью безоблачными. Свеча нашей любви, бывало, трещала и даже норовила потухнуть. Были и споры, и разногласия, и непонимание, и раздражение, и обидные, горькие слова, в запальчивости брошенные нами друг другу. И все же, возвращаясь темным московским вечером после работы домой, я поднимала глаза к окнам, светящимся на десятом этаже, и тихонько улыбалась: я знала, что меня там ждут, и ждут с нетерпением!

Как-то раз я купила для мамы какое-то редкое лакомство и в шутку сказала: «Ну, чтобы ты без меня делала?!» И она серьезно и спокойно ответила: «А без тебя вообще бы ничего не было!». Какая радость – когда для тебя светится окно, когда ты – опора своей состарившейся матери, из последних сил волочащей на себе груз прожитых лет и горьких потерь.

В тот вечер она легла рано, жаловалась на головную боль, я сидела около ее кровати, и мы беседовали, как делали каждый вечер, когда я возвращалась с работы. Мы говорили о каких-то глупостях, о политике, обсуждали нескончаемую суету наших земных будней, а говорить-то нужно было о другом. Напомнить ей, например, далекий московский вечер, когда мы отправились к травнику за грибом-чагой для бабушки с ее опухолью в желудке. Сказать ей: «Помнишь, мама, как мы шли по старым улочкам в районе Таганки, мимо уютных дворишков, мимо палисадников с вековыми липами, и тихонько переговаривались, понимая друг друга без лишних слов? И так тепло было на сердце от нашей близости, и от золотистого света вечерних московских окон, освещавшего наш путь.

А помнишь, как потом мы возвратились домой и сели на кухне разбирать купленное и готовить настой? Как устлали весь кухонный пол растительными остатками, сидели и перебирали их, и я сказала: “Мы с тобой, как две ведьмы”? И мы обе засмеялись от душевной теплоты, от нашего согласия, взаимопонимания и сердечной тяги друг ко другу».

А еще можно было бы вспомнить холодное, дождливое лето – первое лето в жизни моего сынишки, наше житье втроем на неблагоустроенной даче, где нас согревала только небольшая печка, твою самоотверженную, без лишних сантиментов, помощь, твои поездки на детскую молочную кухню и то, как ты в своем бабушкином рвении чудом не попала под грузовик, свалившись с велосипеда...

А еще можно было бы вспомнить, что ты могла вывернуться наизнанку, если кто-то из нас заболел или попадал в больницу – обзванивала врачей, устраивала, договаривалась, платила...

А еще можно было бы вспомнить, как, ты, однажды, почему-то поссорившись с папой, пришла ко мне, и мы тихо сидели в моей небольшой кухне, пили чай и разговаривали, как две близкие подруги, и уже не ты меня, а я – тебя старалась, как умела, утешить, подбодрить, поддержать...

А еще можно было бы вспомнить, как ты, прочитав мой рассказ, позвонила мне на работу и со слезами сказала: «Какая ты молодец, доченька!». Если бы ты знала, какой радостью я тогда переполнилась: заслужить одобрение от такого, как ты, профессионала высочайшего класса, было для меня оценкой лучшей из лучших...

И еще можно было бы вспомнить... И еще... И еще...

Но в тот последний наш с мамой вечер мы говорили о чем-то совершенно несущественном, мизерным перед неизбежностью того, что произойдет через несколько часов.

Наутро я, как обычно, собиралась на работу, одевалась и прихорашивалась, потом зашла в маме – попрощаться. И обнаружила страшное – ее хватил глубокий инсульт.

Потом была беготня, суета, больница, мое сиденье у больничной койки, ее трехнедельное умирание. Но каждый раз, входя в палату и заглядывая ей в лицо, я пыталась понять, узнает ли она меня. Иногда мне казалось, что ее взгляд – осмысленный, что она, как всегда, ждет меня и радуется моему приходу.

Если бы знать, что тот наш разговор был последним...

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Мы с семилетним сыном гостим в Кишиневе у папиной подруги, вдовы его друга-писателя. Молдавский август ласков – солнце не палит, а согревает, вокруг – цветы и плоды, гостеприимная хозяйка угощает нас молдавскими блюдами, среди которых – обязательные баклажанная икра и фаршированные помидоры. Забавные названия этих

блюдов – «синенькие» и «красненькие» – я знаю с детства от папы, и также знаю, что папа через всю свою жизнь пронес уверенность в том, что в Москве, как бы хозяйка ни старалась, по-настоящему она их приготовить не сумеет!

В один из дней папа, уроженец этих мест, проезжает через Кишинев по дороге в командировку в Бухарест. Его поезд из Москвы приходит утром, и отправляется вечером. Мы встречаем его на Кишиневском вокзале и целый день проводим втроем, чего в Москве практически не случается – там все заняты работой, учебой, делами, крутятся в бесконечной круговерти московской жизни.

Папа с удовольствием исполняет роль гида, он ведет нас по своему родному, уютному, тонущему в зелени садов городу, приводит на рынок, где щедрые молдаване наперебой норовят угостить моего мальчика кто яблоком, кто помидором, кто грушей или еще каким-то лакомством. Папа на своем родном языке заговаривает то с одним, то с другим, и люди, слыша молдавскую речь, так и светятся радостью, а мы с сыном, дети Москвы, проникаемся гордостью за то, что у нас такой провожатый. Согретые этим потоком человеческой радости и доброты, мы продолжаем нашу неспешную прогулку и, наконец выходим на окраину города. Закат уже золотит небо. Перед нами расстилается мягкий бессарабский пейзаж – округлые невысокие холмы, сады, виноградники. Природа благосклонна к этой земле – все напоено спокойными и мирными солнечными лучами и щедро плодоносит.

Папа задумчиво глядит вдаль и тихо вздыхает: «Вот она, моя Молдавия», и мне слышится печаль в его голосе.

Давно, в юности, девятнадцатилетним парнем, он оставил эту свою землю, скитался по дорогам войны, потерял здесь родителей, братика и сестричку, приехал к московской тетке, учился, женился, обзавелся двумя дочками и, кажется, полюбил свою новую родину. Он говорил по-русски без малейшего акцента и овладел им настолько, что стал блестящим преподавателем русского языка. И все-таки грусть по оставленной Бессарабии нет-нет да и проскальзывала в его вздохах, в любви к брынзе, «синеньким» и мамалыге, в прекрасных молдавских дойнах, которые он пел на домашних вечерах.

Судьба всегда приводит нас по нашему назначению, хотя мы зачастую этого не осознаем, и даже пытаемся противиться ей. Папе, человеку необычайно одаренному, было бы тесно в маленьком, провинциальном, тихом Кишиневе. Своим трудом и талантом он сумел покорить Москву, стал профессором академического института, литератором, переводчиком, писателем. Его родное село Новые Драгушены хранит память о нем, как о своем выдающемся земляке.

Но что мы можем поделать с детскими воспоминаниями о родном доме, о земле, где прошли наши первые годы, о без вести пропавших родных? Часть папиного сердца принадлежала молдавской земле, и печаль по ней нельзя было вытравить ни новой жизнью, ни новой любовью.

Детство восславлю я
Горькое действо! –
Мякоть – Молдавия,
Семя – еврейство.
Мякоть в осенней
Пороше гниет:
Живо ли семя,
Отвергнув ее?..

Должно быть, мягкая, согретая солнцем, поэтическая, музыкальная земля Бессарабии щедро наградила своего сына своими дарами. Поэзия и музыка были как две сестры, царящие в его сердце. Он был удивительно музыкален, хотя музыке никогда не

учился. Нотный стан был для него подобен китайской грамоте, но у него был прекрасный слух, сильный, приятный, проникновенный голос, а главное – умение чувствовать песню и передавать эти чувства слушателям.

Вечер, семейный праздник, за столом – наша семья, гости, шум, говор, смех. Папа берет гитару и начинает петь молдавскую дойну. На семиструнной гитаре он знает всего три или четыре аккорда – выучился еще во время войны, под Сталинградом, но недостаточность гитарного мастерства нисколько не смущает ни его самого, ни нас, его слушателей. Прекрасная, грустная мелодия дойны заполняет все пространство вокруг и проливается прямо в душу. Все застольные разговоры стихли, все мы, затаив дыхание, слушаем, и совсем неважно, что никто из нас не понимает ни слова. Важно то, что мы понимаем главное – это песня о любви, о звездах в ночном небе, о нелегком человеческом пути...

Потом папа поет свои песни на собственные стихи, и чаще всего те, что посвящены его любви – моей маме, их встрече, их не всегда безоблачным отношениям:

Вспомянем незлобивым словом
Все то, что сделало нас близкими
Покровки мягкие изломы
И фонари над ней монистами...

Лирическое настроение сменяется весельем – папа прилаживает к губам гармошку, гитарные струны под его руками задают плясовой ритм, мы танцуем, пляшем кто во что горазд, и нам не нужно казенных музыкальных записей, эстрадных песенок, несущихся из магнитофона или радиоприемника – у нас своя, может быть, непрофессиональная, но живая, задушевная музыка. Мой папа – поэт и музыкант, мой папа – человек-оркестр!

Еще одно детское воспоминание: вечер, уроки сделаны, ко мне пришли подружки-одноклассницы, мы сидим и тихонько болтаем в закутке. Папа приходит с работы, и наскоро поужинав, садится в своей комнате за печатную машинку. До нас доносится ее стук, и на лицах моих девчонок появляется изумленное выражение. «А что это? – в полном недоумении спрашивают они у меня, – твой отец пришел с работы и опять работает?» Меня распирает чувство гордости за работающего папу. Не у всех такие папы. «Да, – важно киваю я, – папа, наверное, переводит или что-нибудь свое сочиняет». Подружки делают понимающие лица, но, кажется, не одобряют такого родительского поведения. Работать после работы – им это непонятно и чуждо.

«Чуждость» – это, пожалуй, одно из свойств моего отца. Как он ни старался (совершенно искренне) вписаться в российско-советскую действительность, он оставался «не таким, как все», не до конца «своим», не окончательно благонадежным – чужаком на своей новой родине. Учившийся в Бухарестском лицее, испытывавший на себе «растленное влияние Запада», он другими глазами смотрел вокруг себя, хотя был законопослушным гражданином, и никаких противоправных не то что действий, но даже мыслей не высказывал. Однако видел и понимал он многое. Мама рассказывала, что, когда она, в послевоенные годы пламенно любившая Сталина, собралась отправиться на похороны вождя, на печально знаменитую «Трубу», отец не только ее удержал от этого рокового шага, но и весьма скептически отнесся к такому порыву. В отличие от нее, он тогда уже многое понимал. Под его влиянием и мама поймет это, только несколько позже.

Эта «чуждость», потаенное сопротивление агрессивной «советскости», помноженное на еврейство и западное происхождение, конечно, чувствовались и

чиновниками, и начальниками разных мастей. В период разгула антисемитизма в конце сороковых – начале пятидесятих годов ему, талантливому аспиранту, не дали защитить диссертацию, при тайном голосовании накидали черных шаров. На работу он нигде не мог устроиться – повсюду следовал категорический отказ без объяснения причин.

Но не таков был мой папа, чтобы сдаваться на волю злых обстоятельств. Было в его характере здоровое и разумное упорство. Тебя сбили с ног? – Встал, потерял место и пошел дальше!

Это упорное хождение привело его, наконец, в среднюю мужскую школу на Плющихе, где директор оказался мужественным по тем временам человеком и с риском для собственной карьеры принял отца школьным учителем. Об этом своем решении директору жалеть не пришлось: отец оказался превосходным преподавателем, ребята его обожали и долгие годы после окончания школы приглашали его на свои встречи.

Наступила «оттепель», повеяло ветерком относительной свободы, страна смогла немного перевести дух. Мои родители восприняли перемены с воодушевлением: обновившаяся хотя бы отчасти жизнь раскрывала им новые перспективы, и папа сменил работу – оставаться всю жизнь учителем средней школы он не собирался. Ему, наконец, удалось защитить диссертацию, и он устроился преподавателем русского языка в Академию общественных наук – учебное заведение для иностранцев, курируемое ЦК КПСС. В атмосфере новых политических веяний ему на сей раз не помешало ни подозрительное происхождение, ни беспартийность. Это были годы расцвета – отец, как и в школе, вскоре стал одним из лучших и любимейших преподавателей в Академии, он получил возможность активно общаться с писательской средой Румынии, многократно ездил в город своего отрочества – Бухарест. Со своими студентами у него наладились дружеские отношения, некоторые приходили к нам в гости. И все эти подозрительные связи в конце концов отцу аукнулись.

Прошли, промелькнули шестидесятые годы, свежие ветры перемен оказались слишком слабы для огромного монолита Советской империи, жизнь стала постепенно застаиваться и откатываться на прежние рубежи. В один непрекрасный день, когда папе исполнилось пятьдесят лет, он позвонил маме из уличного автомата и сказал:

– Меня уволили.

– Ты что, шутишь? – сказала мама оторопело.

– Нет, не шучу, – был ответ.

В изменившейся обстановке отцу не простили слишком активной связи с румынами, слишком тесного общения со студентами-иностранцами, не простили его «чуждости», его инаковости, несмотря на все его попытки запрятать поглубже эту небезопасную черту своего характера.

Несколько последующих лет он вновь, как и в молодости, никуда не мог устроиться, перебивался случайными заработками, переводами, и очень страдал, хотя на жизни семьи это не сказывалось. А годы шли и работали против него. И только спустя долгое время, когда он уже нашел новую работу, он как-то раз признался: «Много вы знали о моих переживаниях в то время? Как я мучился, как плакал по ночам?»

Но терпение и упорство вновь помогли ему преодолеть невзгоды – папа, наконец, устроился в академический институт, занялся вплотную научной работой, защитил докторскую, получил профессорское звание. Забуксовавшая было жизнь стала вырывать на ровную, твердую дорогу. Взрослели дочери, радовали внуки. Годы как будто были не властны над родителями – они оба были активны в жизни, в работе, в творчестве.

Я смотрю на их фотографию, сделанную, когда они были в гостях у сестры в Германии. Мама, глядя на нее, с удовлетворением говорила: «Красивые, Мишка, мы с

тобой люди. Старые, но красивые!» И это действительно так: маме на фотографии почти семьдесят пять, отцу – под восемьдесят – возраст почтенный, но они оба красивы зрелой красотой людей, достойно проживших жизнь. Они тепло улыбаются друг другу, они радостны и спокойны – они еще ничего не знают, а мы с сестрой молчим – надеемся, что у нее будет долгая ремиссия, что приговор отсрочится, а то и вовсе не будет приведен в исполнение...

Всю свою сознательную жизнь я была маминой дочкой. Интеллектуальное влияние отца на меня было, несомненно, огромным, но ни одного доверительного, душевного разговора с ним в моей жизни так и не случилось. Правда, мама с ним делилась всем, и поэтому он и так был в курсе всех наших дел и переживал наши проблемы глубоко, но по-мужски скрытно. Его «чуждость» сказывалась и в наших отношениях – непониманием с его стороны, раздражением – с моей.

Мне чаще всего казалось, что личная жизнь дочерей его волнует в гораздо меньшей степени, чем их учеба, работа, интеллектуальное развитие, успешность в делах. Тем более драгоценны были нечастые моменты, в которых – всегда неожиданно для меня – проявлялась глубина его отцовского чувства. Как-то раз он вдруг, понизив голос, сказал: «Доченька, я был бы очень рад, если бы ты встретила какого-то хорошего человека. Знай, что я всей душой этого желаю». Я, по своему обыкновению, промолчала и только чуть пожала плечами. Обнадежить папу в этом смысле мне было нечем, но на сердце потеплело от этого скупого проявления отцовской любви и сочувствия. А он, мой папа-атеист, помолчав минуту, вдруг добавил: «Я молюсь за тебя».

Да, мой папа всегда позиционировал себя, как атеист. Воспитанный в иудейской традиции, он многократно рассказывал о том, как, будучи подростком, потерял веру. Разгул самого мрачного антисемитизма в Румынии тридцатых годов, ужасы второй Мировой войны, преследования «безродных космополитов» при сталинском режиме, его собственные поражения заставили его отвернуться от Бога, Который, как ему казалось, не защитил, не оградил, не помог, не спас. Жизнь в богоборческой стране лишь укрепила его в мысли, что Вера и Разум – две вещи несовместные, и что верить в Бога могут только малообразованные и слабые люди.

Мы сидим перед телевизором, за окном бушует потревоженная страна, катятся к концу восьмидесятые годы. На экране – священник, к которому поневоле прислушиваешься – так горячо и так убежденно он говорит о вере и о Христе. Ни я, ни папа не знаем, кто этот прекрасный человек, но его слова как будто проникают в самое сердце. «И вот такой человек, – с удивлением комментирует папа, – умный, образованный, и верит в Бога!». Во мне разгорается внутренний протест, я всей душой чувствую, что отец неправ, но не знаю, как ответить, а тем более переубедить.

Лишь некоторое время спустя я узнаю, что этот священник – отец Александр Мень, человек пламенной веры и неукротимой энергии, и своим словом, и своим делом, и своей трагической кончиной многим открывший нелегкий христианский путь. Такой человек, наверное, смог бы найти нужные слова и указать отцу дорогу, с которой тот свернул в ранней юности, но на которую он, оступаясь и отступая, по-видимому, все же пытался вернуться.

Отвергнутый Бог не давал отцу покоя. Вера, зароненная в детстве, пустила в его душе глубокие корни, иначе откуда же среди его стихов так много посвящено отношениям со Всевышним: «Божье», «Лития», «Бунт», «Молитва», «Позднее покаяние»?

Как ни боролся с Ним мой отец, как ни противился Ему, все же он не мог полностью отделаться от ощущения Его присутствия. «Как Ты мог допустить все

ЭТО?» – роптал он, прошедший войну, лишения, унижения, потери, и не находил ответа. Казалось, что Небеса надменно молчат. Может быть, они пусты и там никого нет? Его отношения с Богом как бы восходят по ступеням – от бунта:

Не я Тебя, Творец, отринул
А разум, вскормленный Тобой!

до упования: «Спаси!»

Под гром вселенческого шума
Не оттолкни, не захолюнь
... И пусть опять придет Иешуа
Воздев пробитую ладонь...

и в конце концов – к смирению:

Боже, кропящий росой,
Боже, разящий косою,
Прости...

Его попытки нового обретения Бога, возвращения на путь к Нему особенно усилились в конце жизни, после случившейся семейной трагедии. Все чаще и чаще он читал Священное Писание, иногда дерзко, по-бунтарски, обзывал библейские сюжеты «сказочками», но все настойчивее пытался проникнуть во вселенские тайны Книги Книг.

В его отношениях с Богом было что-то от Иова – подобно библейскому страдальцу, отец настойчиво требовал от Него ответа, как Он допустил такой разгул зла в мире. И все же каким-то шестым чувством он понимал, что истинная помощь, прощение и спасение могут прийти только Оттуда. Он читал, размышлял, старался понять, почему грозный и мстительный Бог Ветхого Завета так отличается от Отца Небесного, о котором говорит Христос. Он задавал свои вопросы вслух, возможно, надеясь, что я, к тому времени уже дерзко называющая себя христианкой, помогу ему, дам какие-то ответы. Но я только начинала свой путь, и сама еще многого не понимала, и раздражалась от собственного непонимания и неумения.

Непонимание, неумение и отчужденность – вот то, что характеризовало мои отношения с отцом при его жизни. Никогда мне не приходило в голову пооткровенничать с ним, поверить ему свои печали и радости. Казалось, он не поймет или не так поймет.

Отчего же сейчас я так скучаю по тебе, папа?

В твоём сборнике я нашла стихотворение, посвященное мне:

Дороже всех погожих дней
Что мне прожить еще осталось
Твоя святая возмужалость
И место в памяти твоей.

Не беспокойся, папа – место, занятое тобой в моей памяти – огромно. Я знаю, как ты радовался бы моим публикациям, знаю, что теперь мы могли бы на равных обсуждать

великие и вечные сюжеты Книги Книг, но не в этом дело! А дело в том, что мне так хочется просто поговорить с тобой, выразить недосказанное, растолковать недопонятое, исправить неисправимое.

Ты слышишь меня, папа? Мне так не хватает тебя...

ЖИЛИ ДВЕ СЕСТРИЧКИ

За окнами – теплый, майский вечер, наша квартира залита светом, за столом – гости. Веселые голоса, смех, радость – родители празднуют серебряную свадьбу, двадцать пять лет их совместной, непростой, но насыщенной жизни. Мне – 24 года, Лиде – 18, и мы, конечно, принимаем в празднике самое активное участие – тосты и пожелания гостей, их теплые слова в адрес мамы и папы относятся и к нам тоже, ведь мы – результат их совместной жизни. Окончательно развеселившись, мы с ней начинаем танцевать; я – в своем излюбленном цыганском, она – в невесть откуда воспринятом ею испанском стиле. Друзья восхищаются, родители гордятся, и счастье, кажется, волнами наполняет наш дом и выплескивается через окна наружу.

Мы с Лидой выходим на кухню немного перевести дух, и она задумчиво и ласково говорит: «Как хорошо, что нас – двое». «Да, – с готовностью киваю я в ответ – очень даже хорошо».

Правда, это ощущение нашей «двоичности», сестринской дружбы возникло не сразу. До определенного времени я была к младшей сестре довольно равнодушна.

Ну, растет в семье маленький человек – хорошенькая темноглазая девочка в кудряшках, общительная, веселая, родители читают ей детские книжки, папа учит ее кататься на велосипеде, как учил меня еще несколько лет назад, мама обращает внимание на ее тягу к рисованию, бабушка шьет ей, как и мне, какие-то платица и кофточка. У меня прибавляется немного обязанностей по дому – забрать сестру из садика, купить хлеба в магазине, но все это проходит мимо меня как бы по касательной и никаких эмоций во мне не вызывает. С сестрой мы, конечно, не деремся, но иногда ссоримся и несколько не дружим. Родителей это не радует, но что поделаешь?

Конечно, добродушная соседка иногда меня спрашивает:

– Кого же твои мама и папа любят больше – тебя или сестричку?

Вопрос ставит меня в тупик:

– Одинаково, – растерянно отвечаю я.

– Н-да... – вздыхает добрая женщина. – Ну так не бывает. Все-таки, наверное, сестричку они любят больше.

И прибавляет сочувственно, от всей полноты своей житейской мудрости:

– Младших всегда любят больше.

Я молчу, мучаясь от скрытого раздражения, понимая, что грубить старшим нехорошо и что тетку мне все равно не переубедить.

Возможно, слова милейшей соседки и становятся для меня некоторой «детской травмой» – во всяком случае я их запоминаю и начинаю задумываться, а вдруг и впрямь родители любят сестру больше, чем меня? Но сколько ни думаю, ничего такого не чувствую и никакого ослабления внимания к моей персоне со стороны родных не испытываю.

Разница в шесть лет в детстве и ранней юности огромна: между десятью годами и четырьмя – пропасть, между шестнадцатью и десятью – разница непреодолимая, но когда один человек годами переваливает за двадцать, а второй входит в пору ранней юности – различия начинают постепенно смягчаться.

Я хорошо помню тот день, когда мы будто открыли для себя друг друга. Я – студентка, сестра – старшеклассница, мы остались одни дома – старшие куда-то уехали,

возможно, на дачу. Мы согласно хозяйничаем, безо всяких споров уступаем друг другу и вдруг с обоюдным удивлением обнаруживаем, что нам вдвоем хорошо и интересно.

– Слушай, Лидка, – говорю я ей, – как мы отлично ладим! У нас все здорово получается!

– Да, – радостно кивает она, – нам с тобой надо почаще оставаться наедине и побольше общаться!

С годами наша дружба стала крепнуть. У нее был удивительный, нечасто встречающийся дар – веселое сердце. Она искренне, всей душой радовалась жизни, людям, Божьему свету, и это передавалось другим при общении с ней. К ней всегда тянулись маленькие дети, ее обожали домашние животные, щенок, которого они с мужем завели, живя на даче, едва встав на лапы, следовал за ней по пятам. Однажды, видя такую щенячью преданность, мама, усмехнувшись, сказала:

– Любит ее!

– А кто же ее не любит? – ответил Николай, ее муж, глядя вслед жене и тепло улыбаясь.

Она не прилагала никаких усилий для того, чтобы любить и быть любимой, не рассуждала о том, что нужно делать людям добро – она была так устроена, ей было дано это Свыше.

С ней было тепло, с ней можно было говорить обо всем, в том числе – и о самом сокровенном, ей можно было рассказывать о серьезных проблемах и неурядицах – она всегда слушала с искренним вниманием и неподдельным сочувствием. Люди, самые разные, образованные и не очень, близкие ей по духу и чуждые – все были ей интересны. Это чувствовали окружающие, даже малознакомые, и тянулись к ней.

– Знаешь, – как-то сказала она мне о своем новом знакомом, – он все время старается со мной побеседовать. Он, честно говоря, человек очень глупый, ну просто... дурак. Но ему хочется поделиться со мной, и я слушаю. И мне интересно – что-то он переживает, над чем-то думает!

Жизнь шла, не обходила нас многочисленными проблемами, порой – весьма серьезными, и с ними мы спешили друг ко другу, стараясь по возможности миновать стареющих родителей, не расстраивать их хотя бы до поры до времени. Я первая в семье узнавала обо всех кардинальных изменениях на ее жизненном пути и платила ей взаимностью.

Накатили девяностые годы, привычная более или менее спокойная жизнь стала разваливаться, как дом, построенный на сгнившем фундаменте. Не стало работы, денег, продуктов, зато появились многочасовые очереди за самым необходимым. Мы рыскали по магазинам в надежде даже не купить, а достать, ухватить что-нибудь съестное – крупу, макароны, сахар, замороженное мясо или синюшную курицу.

Как-то раз, морозным утром, по дороге на работу я заскочила в магазин рядом с домом и вдруг столкнулась там с сестрой – они жили неподалеку. Мы кинулись друг к другу, как будто не виделись давным-давно. Встреча была мимолетной – мы обе спешили по делам, но мне показалось, будто сквозь хмурые облака окружающей обстановки прорезался луч – так стало светло на душе от этой неожиданной радости, от взгляда родных темных глаз, просиявших мне из-под шапки-ушанки, очевидно, мужниной. В тот короткий миг я отчетливо осознала, что нас и впрямь – ДВОЕ.

Однажды летним днем я пришла к ней в гости. Она была одна, муж с сыном куда-то уехали.

– Я привезла тебе подарок, – сказала сестра и вручила мне очень красивую джинсовую юбку. Я тут же ее надела и стала вертеться перед зеркалом, не подозревая о том, что этим подарком она хочет смягчить удар, который ей придется нанести.

– Мы уезжаем в Германию. Получили вызов, – сказала она, немного погодя.

Я задохнулась от расстройства. Я до сих пор и не думала, что призрак скорой разлуки с сестрой так меня напугает. Видя мое поневоле перекосившееся лицо, она стала говорить, что, может быть, они поедут ненадолго, на несколько месяцев, не навсегда, устроят там выставку, посмотрят, что да как. Потом стала хвалить подаренную юбку, говорила, как замечательно она на мне сидит. Я отупело кивала. Юбка стала безразлична. Было не до неё – ощущение пустоты и надвигающегося одиночества не давало вздохнуть, сделать веселый вид, высказывать восторги. У меня были хорошие и понимающие подруги, но сестра – это совсем другое, это – как часть тебя самой – родная кровь, родная плоть, разлучиться с сестрой – все равно, что отрезать часть от себя самой.

Через некоторое время они уехали. Лида стала регулярно звонить, писать замечательные письма о том, как их принимают немцы, об успехах сына, о многочисленных друзьях и поклонниках их творчества. Родители жадно читали эти письма, отец радовался чуть не до слез, радовалась и мама, но все равно раз от разу повторяла: «Как я страдаю!». Приходилось искать слова утешения для нее, будто для обиженной девочки. «Ну что ты страдаешь? Почитай, что она пишет, как они живут, и сравни, что здесь у нас творится», – говорила я, еще не ведая, что эта разлука – еще не разлука, что эта беда – еще не беда!

Беда пришла через несколько месяцев. Телефонная трубка родным сестринским голосом сказала мне о ней. Я села на пол около тумбочки с телефоном и малодушно заревела. «Ну ничего, не плачь, – стала она меня утешать. – Здесь очень хорошие врачи, новые методы лечения, отличный уход. А родителям ничего не говори. Возможно, будет долгая ремиссия, пусть живут спокойно». «Конечно, конечно, – покорно отвечала я, – очень многие живут долгими десятилетиями».

Но никаких десятилетий ремиссии нам не было дано – всего лишь короткие четыре с половиной года. Четыре с половиной года ее борьбы, страданий и веры. Сын Человеческий вдруг уловил ее в Свои сети, открылся ей, даровал ей в эти годы необыкновенный творческий взлет. Мужественно и достойно она взяла свой крест и последовала за Ним по своему скорбному пути, Ему посвятила свои лучшие, самые сильные работы, в Нем черпала силы, утешение и вдохновение.

А мне было заповедано молчать и оберегать отца и мать от сокрушительного известия. Они были как бы островком блаженного неведения посреди всеобщего знания о происходящем. Позже, уже после Лидино ухода, мама сказала мне: «А мы с папой не могли понять, почему ты даже никогда не улыбнешься, когда мы читаем ее письма – такие счастливые, такие радостные! А ты, оказывается, все знала. Тоже нелегко тебе было.»

Да, было нелегко – молчать, скрывать, контролировать себя, чтобы ненароком не обмолвиться и, как за соломинку, цепляться за призрачную надежду, что процесс приостановится, что болезнь даст передышку, что нас еще будет – ДВОЕ!

Последний раз мы виделись с сестрой за пять месяцев до ее ухода. Я приехала к ним в Германию, в маленький, милый, чистый городок – пригород Гамбурга. Стояли прекрасные августовские дни, мы с ней и с ее сыном ездили в гости к ее немецким друзьям, путешествовали по величественному Гамбургу и старинному Любеку и говорили о жизни и об искусстве, и откровенничали о том, что волновало и объединяло нас обеих. Казалось, она чувствовала себя неплохо, и во мне укреплялась надежда, что впереди у нас еще долгие дни, годы и десятилетия.

Они втроем провожали меня в Москву в бурлящем аэропорту Гамбурга. Объявили посадку, мы стали прощаться, и тут она мне сказала странные слова: «Мы так и не поговорили с тобой». «О чем? – растерянно спросила я. – Мы же все время были

вместе, все время разговаривали». Она не ответила – не смогла? не успела? – а мне нужно было спешить. Захваченная посадочной суматохой, я в последний раз оглянулась на их маленькое семейство – сестра, красивая, статная, с гривой отросших после химиотерапии волос, печально мне улыбалась и махала рукой.

Больше я ее не видела. Той же осенью болезнь принялась за нее всерьез и в конце концов одолела.

Долгие двадцать пять лет протекли с тех пор, и все эти годы я тщетно пытаюсь разгадать те ее слова: «Мы так и не поговорили с тобой». О чем, Лида, сестра моя, ты хотела со мной поговорить? Как же так вышло, что мы не сказали друг другу важнейшее, сокровенное, идущее из самых глубин души? Почему не сумели найти нужные слова, пока нас было – ДВОЕ?

Однажды я увидела ее во сне. Мы с ней были в каком-то прекрасном, пронизанном солнцем саду. Вокруг все цвело, плодоносило и сияло радостью. Она была все такая же, какой я запомнила ее – статная, с гривой невероятных волос. Она улыбалась и звала меня куда-то, и во сне я понимала, что там – счастье, свет, гармония и покой, что там мы будем вместе с любимыми и, наконец, скажем друг другу заветные слова, которые не сумели сказать им здесь, на нашем земном пути...

МЕЖДУ КРИТИКОЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕМ. Авторская рубрика Риммы
Нужденко

Поэт и мадонна Мурильо. О романе В. Маркарова «Чёрная роза Тифлиса». (*Опыт
прочтения прозы*)

*Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
А. Пушкин*

Поиск современного и выразительного способа воздействия на читателя стал отличительной чертой серии исторических романов Валериана Маркарова. Для него историзм – не просто обращение к прошлому, а живой диалог с вечностью, попытка понять и передать, как из корней истории прорастают судьбы, чувства и нравственные ориентиры человека сегодняшнего дня. В его произведениях прошлое оживает, превращаясь в зеркало, в котором ясно проступают тревоги и надежды современности.

И именно здесь, в нише историко-биографического романа, Валериан Маркаров занял своё достойное место – рядом с мастерами, для которых чувство было не просто темой, а мерилom человеческого духа. Его проза соединяет точность исторической детали и поэтическое видение, глубину психологизма и благородство стиля, возрождая традицию высокой, одухотворённой литературы.

Для писателя главное – донести мысль: *«Без прошлого, без памяти о нём, без поиска своих корней нет ни настоящего, ни будущего».*

Сегодня, когда мы, быть может, как никогда прежде, всматриваемся в будущее, Маркаров смахивает пыль с каменных мостовых минувших эпох. Он приходит к нам со своими книгами – книгами, несущими свет истории, книгами о тех, кто своим талантом, трудом и достоинством возвышал понятия чести, милосердия, веры и справедливости. Герои его романов становятся частью нашей культурной памяти, гордостью и духовным достоянием.

Три последних произведения писателя – *«Легенда о Пирсmani»*, *«Портрет неизвестной, или Во всём виноват Репин»* и нынешний роман *«Чёрная роза Тифлиса»* – тесно связаны с Востоком. В них Грузия и Тифлис по праву занимают место самостоятельных героев.

Во всех произведениях автора за строками текста живёт время. Новый роман – не исключение. Перед читателем раскрывается Россия эпохи 1825 года. Мы знаем, что история уже вынесла свой приговор тому времени: губительное самодержавие, раболепие, крепостное право. Людьми торговали, как скотом. После восстания 14 декабря начались гонения на литераторов, журналы и свободную мысль, говорить вслух о декабристах стало опасно. Но даже в мрачные годы правления Николая I русская мысль не умерла.

Писатель – это гонец, несущий весть о своём времени, а гонимых убивали во все эпохи. Так трагически погибли Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Но их голоса оказали колоссальное влияние на духовную и нравственную жизнь общества.

Именно в эту трагическую эпоху погружает нас Валериан Маркаров в своём последнем романе «*Чёрная роза Тифлиса*», повествующем о жизни и любви Нины Чавчавадзе и Александра Сергеевича Грибоедова. География повествования широка – Грузия, Армения, Персия, Санкт-Петербург.

В складывающемся на наших глазах цикле произведений открываются всё новые грани мастерства писателя, ранее неведомые читателю. В его размышлениях о начале, об истоках – о том, что, по словам Фета, идёт «*из времени в вечность*» – ощущается творческая зрелость автора.

«Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, пронизательный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей...»
Н. М. Карамзин

Страницы, посвящённые теме художественного творчества – писателя, поэта, музыканта – в романе Маркарова естественно переходят в более глубокие пласты повествования, связанные с вечными нравственными категориями.

Чувство долга перед собой и миром, страх не донести до него всё, на что способен, – вот что движет героями его книг. И нынешний роман – лучшее тому подтверждение. Речь в нём идёт не только о трогательной истории любви, но и об одном из самых блистательных людей русской литературы XIX века – Александре Сергеевиче Грибоедове, личности поистине легендарной не только в литературе. В центре внимания писателя – жизнь и судьба гениального драматурга и дипломата, история его страстной, короткой и трагической любви.

В романе невозможно пройти мимо темы любви, окрашенной в тона нежности и одухотворённости, даже если основная линия далека от любовной элегии. В «*Чёрной розе Тифлиса*» эта линия становится центральной: в сердце повествования – история любви княжны Нины Чавчавадзе и великого русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова.

Роман охватывает не только историю любви, но и отвечает на вопрос: «*Как приходит слава?*» Ответ очевиден, если речь идёт о людях, создавших великие произведения искусства или совершивших подвиг во имя Отечества. Но иногда в памяти поколений остаются другие – несущие свет, хранители духовной чистоты. И такой чести удостоиваются единицы.

Девочка, родившаяся 4 ноября 1812 года и названная Ниной в честь святой Нины – покровительницы Грузии, – стала одной из них. Её имя – Нина Чавчавадзе, княжна Нина Александровна Грибоедова. Став женой Грибоедова, она вошла в историю как символ верности, любви, милосердия и духовной чистоты. Её собственный след в истории – светлый и неповторимый.

Следуя принципу исторической достоверности, автор с большой художественной силой описывает страшные страницы времени – эпидемию холеры в Грузии, сцены военных действий, последние минуты трагедии в Тегеране и гибель героя. Но при этом в основе его эстетики – преклонение перед красотой: будь то красота города, искусства, древней поэзии или человеческих чувств.

Красота личного чувства, нежность и поклонение женщине придают прозе В. Маркарова особое очарование. Поэтому самые поэтические страницы романа посвящены именно красоте – красоте слова, отношений, любви и человеческой души.

Известные факты из жизни великих людей прошлого, глубокое знание истории и литературы Востока, архивные документы, письма героев, материалы, связанные с событиями 1825 года, делают романы В. Маркарова необычайно притягательными. Его связь с историей и культурой прошлого гораздо глубже, чем кажется: любовь к стране, к городу, детальное знание биографий писателей и художников открывают многое и в самом авторе.

Не стремясь к педантичной точности в обращении с фактами, В. Маркаров руководствуется интуицией и поэтическим чувством. Беллетризуя подлинные события и судьбы писателей, художников и деятелей культуры, он раскрывает перед нами человека во времени, в его вечном стремлении к смыслу и красоте.

В размышлениях об истоках, о «началах» писателю удалось приблизиться к жизни, которую мы не знали, но которую можно бережно воссоздать по крупицам – и это ему удалось.

Нам остаётся понять, в чём основа этой подлинности, почему историческая беллетристика В. Маркарова находит столь широкий отклик. Ответ приходит не сразу, но, читая его книги, мы начинаем понимать: в основе этой подлинности – любовь автора к своим героям и редкое чувство ответственности перед читателем.

Попробую объяснить.

Важной особенностью творчества В. Маркарова является его убежденность: хороший роман рождается из живого материала. Автору не нужна избыточная метафизика – она присутствует лишь в снах, предчувствиях, в падении звезды в момент гибели героя, то есть в символических деталях. Главное – писатель остаётся в рамках выбранного им жанра историко-биографической беллетристики. Он не перекраивает классику, не поддается моде на «литературные фанфики», не «переписывает» за Грибоедова текст его бессмертной комедии.

Говоря о несомненных удачах, нельзя не отметить объёмность и живость персонажей – как главных, так и второстепенных. И есть ещё Город – его Тифлис, Грузия. Они, как всегда, присутствуют в прозе автора на правах живых героев.

Сила описаний такова, что прошлое оживает перед глазами. Стилистика романа работает на эмоциональную яркость восприятия: у писателя особая образность, насыщенная эпитетами и метафорами.

«А выше – вершины. Седые, в снегу, безмолвные. Сколько раз пытались их описывать поэты: и белой шапкой, и серебряным шатром, и снежной тиарой, и даже черепом – холодным, философским. Но всё это было ничто. Перед этой чистотой язык немел».

Описание мест действия у Маркарова часто персонифицировано: *«Тифлис стал дезинфицировать себя самого: с кожей, с мясом, с душой»*, *«Париж умер, укрывшись в своих каменных гробницах»*. Таких образов в романе множество – оторваться от них невозможно.

Кому-то, возможно, покажется, что в романе есть некоторая избыточность описаний, особенно касающихся Персии – страны, мало знакомой читателю. Однако этот пласт произведения заслуживает особого внимания – он блестяще разработан автором.

Когда-то я писала, что с книгами Валериана Маркарова можно ходить по Тбилиси, как с путеводителем. Сегодня его новый роман – подлинная историография войн России на Кавказе и в Персии первой половины XIX века.

Персия занимает в повествовании значительное место. Описание чужих обычаев, другой культуры требует от писателя особой точности и бережности – в словах, диалогах, деталях. В. Маркаров словно старается удержать все оттенки родного языка. Многокрасочностью, яркостью описаний он сопротивляется тому, что чуждо его внутренней традиции – традиции классической.

Так автор вновь утверждает связь времён – через язык, историю и литературу, возвращая читателя к истокам и открывая перед ним вечные ценности, накопленные веками.

Взявшись за этот роман, писатель в каком-то смысле «рисковал». Хронологически выверенный роман Юрия Тынянова *«Смерть Вазир-Мухтара»* знаком каждому выпускнику советской школы. Нам внушали, что это роман о патриотизме и любви к Родине, где возвышенный образ декабристов порой заслонял фигуру гения Грибоедова. Чтобы удержать внимание современного читателя, Маркарову нужно было нащупать собственную интонацию, ту самую струну, которая станет смысловым стержнем нового романа.

Осмелюсь предположить, что автор сознательно не обращался к тексту знаменитого романа Тынянова, чтобы избежать заимствований, оставив его в глубине памяти и создав свой, самостоятельный образ великого писателя. Не через призму декабризма, а через эмоциональную и нравственную природу личности Грибоедова – человека долга, чести и внутренней свободы, – раскрыт его образ у Маркарова.

И именно в этом, на мой взгляд, заключается их главное отличие.

Образ главной героини романа словно соткан из трёх живых нитей её судьбы: жизнь до встречи – наполненная неясным предчувствием любви к Грибоедову; сама встреча и их краткое, ослепительное счастье; и, наконец, жизнь после его гибели – тихая, полная скорби, но озарённая светом памяти, которой она жила и дышала до последнего вдоха.

Писатель открывает повествование не с начала, а с конца – с последних минут жизни Нины. В этом приёме заключена особая художественная дерзость и внутренний смысл. Автор не ищет дешёвой интриги, не стремится шокировать читателя: в его прозе царит

благородство замысла и чистота чувства. Начало со смерти героини становится не столько драматическим ходом, сколько духовным знаком: смерть для Нины – это не конец, а исполнение её заветной мечты – воссоединиться с возлюбленным, с тем, ради кого она жила, страдала и возвысилась.

«И тогда, издали, из самого сердца тьмы, ей почудился голос. Он не звал – он вспоминал, любовно, неторопливо:
– Нина... ангел мой... Где ты, сокровище моё?..»

Строки, наполненные хрупким светом посмертной любви, словно подводят итог её земному пути. Так раскрывается главная идея романа – идея духовного преображения через любовь – сильнее смерти.

Эпидемия холеры, описанная автором, звучит как апокалиптическая симфония:

«Грозная гостья с жёлтых, иссушённых ветром персидских земель – она явилась без приглашения, неся на себе пыль караванных путей, дыхание пустынь и зловонье мертвечины. С неторопливой последовательностью захватывала она города и веси...»

Образ холеры, персонифицированной как безжалостная странница, даёт роману атмосферу трагического величия. В нём ощущается дыхание древних летописей, где бедствия осмыслились как проявление роковой необходимости.

Так рождается ощущение античной трагедии – когда герои ещё живы, но уже слышен шаг судьбы, приближающийся из-за кулис истории. Именно это знание придаёт повествованию особую глубину: любовь Нины становится не просто личным чувством, но подвигом, исполнением высшего предназначения.

Народная память вознесла Нину Чавчавадзе в символ – «Чёрная роза Тифлиса». В этом образе – и скорбь, и бессмертие, и благодарность потомков. Повторение начальной сцены смерти в финале романа превращает повествование в замкнутый круг, где земное и небесное соединяются, где любовь становится вечной формой бытия.

Но прежде чем раскрыть тайну её рода, автор, с истинной эпической широтой, обращает внимание на второстепенных героев – тех, кто окружал Нину. У Маркарова нет случайных фигур: каждый персонаж несёт собственный луч смысла, свою долю участия в великой судьбе. Иногда это даже не эпизоды, а самостоятельные «романы в романе»: отец Нины, генерал Ермолов, Прасковья Николаевна Ахвердова...

Особое место уделено семье князей Чавчавадзе – славному грузинскому роду, ставшему живым воплощением единства двух культур: грузинской и русской.

Отец Нины, князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе, часто вспоминал своего отца – знаменитого вельможу Екатерининской эпохи, представителя царя Ираклия при российском дворе. Сам Александр был крестником Великой Императрицы. Его детство прошло в Петербурге – под сенью живого портрета Екатерины, где он впитал атмосферу блестящего века просвещения и дворцовой выправки.

В юности, увлечённый идеями свободы, он не побоялся открыто говорить о независимости Грузии, за что был сослан в Тамбов. Но судьба оказалась милостива:

позднее он был прощён, принят в Пажеский корпус, получил образование редкой широты – военное, светское, литературное. Из него вышел человек двойственной, сложной натуры:

«Словно в нём жило два человека. Один – военный, с выправкой, с опытом, с огрубевшим от солдатчины сердцем. Другой – поэт, томимый вечной тоской, пленённый Кахетией, поющий розу и соловья, плывущий в своей грустной, прекрасной утопии, где всё – любовь, и боль, и виноградный сок».

Эта двойственность определила и атмосферу дома Чавчавадзе – дома, где военная честь сочеталась с поэзией, строгость – с музыкальностью духа.

Дети князя, в том числе Нина, воспитывались в доме Прасковьи Николаевны Ахвердовой – женщины большого ума и редкого сердца. Ее дом стал своеобразной академией благородства, где учились не только французскому языку и игре на пианино, но и умению чувствовать, понимать красоту, отличать истинное от кажущегося.

Грибоедов, близкий друг Ахвердовой и семьи Чавчавадзе, часто бывал в этом доме. Здесь и началась та невидимая, почти мистическая связь между ним и Ниной, ещё ребёнком. Он давал ей уроки музыки, а она, не понимая ещё, что с ней происходит, ощущала – в этом человеке есть что-то особенное, что-то неуловимо притягательное.

«Нина была тиха, скромна, совершенно лишена девичьей надменности, которой порой страдают любимцы судьбы. Она словно несла в себе тайное тепло, которым умела незаметно согреть каждого, кто оказывался рядом.»

Так постепенно формируется характер героини – чистой, сердечной, внутренне сильной. Её судьба кажется предначертанной: всё в её детстве – и светлый дом Ахвердовой, и музыка Грибоедова, и отцовская поэзия – готовит её к великой любви и великой жертве.

С появлением в доме Ахвердовых начинается история Александра Сергеевича Грибоедова – история для читателей романа и для тех, кто ищет не просто биографию, а живую душу человека, прошедшего через страсть, мысль и трагедию.

Жажда понять собственную сущность, размышления о судьбе писателя, о значении его слова для судьбы Родины, о своём месте в этой судьбе – проходят через весь роман, словно огненная нить. Задолго до «Горя от ума», поэт написал стихотворение, в котором уже звучал отголосок будущего, – первый зов его совести, предвестие того, что путь штыка не его путь.

Из стихотворения «Прости, Отечество», 1818 год:

*«Премудрость! вот урок её:
Чужих законов несть ярмо,
Свободу схоронить в могилу
И веру в собственную силу,
В отвагу, дружбу, честь, любовь...»*

В этих строках – нерв эпохи, её боль и её пророчество.

Чувство долга перед собой и перед людьми, недовольство собой, предчувствие тяжести взятой на себя ноши, страх ответственности – всё это пронизывает образ Грибоедова в романе. Автор изображает его внутреннюю борьбу с такой откровенностью, с такими исповедальными нотами, что для читателя, привыкшего к классической трактовке Юрия Тынянова в «Смерти Вазир-Мухтара», вдруг раскрывается новый – неведомый прежде – лик поэта.

Перед нами не просто ум и талант – перед нами душа, пульсирующая любовью. Роман Маркарова написан с позиции иной оптики – взгляда, в котором центром становится чувство, светлая и трагическая любовь.

Самый трудный для писателя момент – удержать читателя на грани рассудка и сердца, суметь рассказать о буре духовной жизни, о тревоге, о том внутреннем брожении, которое раздирает героя на части.

В начале работы мы уже говорили: необычность романа в том, что автор, описывая поэта, прибегает к помощи самой поэзии. Его проза дышит ритмом стиха. Страстность повествования подводит к мысли, что только перо в руках Грибоедова – его спасительный якорь, его молитва, его способ удержаться на краю бездны. Это и есть внутренняя доминанта его жизни до встречи с Ниной: неустанное брожение духа, борьба с самим собой.

То брожение сродни движению просвещённых умов России накануне катастрофы: всё двигалось вперёд, но никто не знал – куда. Он – поэт, потрясённый лавиной свободомыслия, испуганный шаткостью мира, разрушающего привычные устои. На этом изломе рождаются первые главы «Горя от ума».

Перо – единственное, что не даёт ему пасть. Друзья-декабристы чувствуют это.

Маркаров показывает: высокая требовательность к себе, постоянная внутренняя боль, «страдание» от несовершенства – не признак слабости, а свидетельство духовной чистоты.

Сомнения в нужности своего творчества, запрет цензуры – всё это становится постоянным фоном жизни Грибоедова. Он живёт литературой, дышит ею, страдает ею. Исступлённая страсть к слову и осознание долга перед близкими – вот клубок противоречий, с которым он живёт, спорит, мучается.

Писатель точно нашёл «ход» для изображения мыслителя, находящегося в самой гуще борьбы, но не примкнувшего ни к одному лагерю. Перед нами человек чести, благородный, страдающий от невозможности быть частью компромисса. «Он будто бы знал: в России за всякой страстью следует цепь. Кандальная или золотая – но цепь».

Друзья-декабристы понимали: Грибоедова, как и Пушкина, надо сберечь для будущего России. Они любили его – за ум, за холод среди жара сердец, за мужество, за внутреннюю свободу.

Под давлением обстоятельств Грибоедов отправляется на Кавказ – к генералу Ермолову. Фигура Ермолова – одна из вершин романа. Это не второстепенный персонаж, а

воплощение России, утраченной и гордой, той России, где слово «честь» значило всё. «Кавказ, – сказал он, не поднимая головы, – это не край, это судьба. Это место, где Россия видна до дна. Без Кавказа Россия – как слепец без трости. Потому я, как Кутузов, не царям служу. Я – России».

Известие о разгроме восстания 14 декабря застало Грибоедова в кабинете Ермолова. Генерал, рискуя, задержал приказ об аресте, чтобы Грибоедов мог уничтожить письма декабристов – тех, кого знал и любил.

Казалось, недоставало самой малости, чтобы история могла повернуться вспять. Но она повернулась – казнями, ссылками, каторгой. Потом – войнами, революциями, лагерями. У России собственный путь, но он всегда возвращается к точке исхода.

После освобождения Грибоедов вновь оказывается в Тифлисе – городе, где всё ему дорого. Здесь он встречает повзрослевшую Нину. Она пела – он аккомпанировал. И больше ничего не имело значения. «И в этом голосе, казалось ему, было всё: и Тифлис, и закат над Курой, и звон бокала, и тишина любви, и её предчувствие».

Пушкин писал:

*«Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем.
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели – с благоговеньем
Вам нынче поклоняюсь я».*

Вскоре Грибоедов становится доверенным лицом Паскевича. Его дипломатический талант позволяет подписать Туркманчайский трактат на выгодных для России условиях. Он везёт императору весть о победе – и получает назначение полномочного министра при Персидском дворе.

Но тень надвигающейся беды не отпускает Грибоедова. Его мучит предчувствие, как если бы где-то внутри уже всё было решено. Нина стала для него светом и дыханием, возвращением к жизни. Он снова пишет – его стихи наполнены радостью, ясностью, надеждой.

Роман раскрывает чувственную сторону жизни Грибоедова. Любовь становится его спасением, его второй сутью. Любовные эпизоды написаны с поэтической легкостью: они возникают как вспышки – не последовательные сцены, а дыхание чувств. Нина говорит сама с собой, он – музыкой и письмами. Всё звучит органично, мягко, как отклик сердца.

Искушённый жизнью светский человек, он не понимает, почему именно Нина пробуждает в нём такую чистоту. Искушённый жизнью светский человек, он не понимает, почему именно Нина пробуждает в нём такую чистоту. И в этом – поворотный момент романа.

В Тифлисе он делает ей предложение; она пишет подруге, что её «как лучом обожгло». Любовь поглощает их целиком.

«Простительно ли мне, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь бросаться в новую жизнь?» – пишет он.

Эта любовь дана им как дар и как испытание. Венчание состоялось 22 августа 1828 года в Сионском соборе. Так началось их короткое, но вечное «вместе».

Автор не боится быть откровенным: интимность их чувств дана чисто и возвышенно. Каждый читатель находит свой ключ к этой любви – без лишних объяснений.

А потом – тревожная предвестность. Полномочный министр Грибоедов знает: Персия – ловушка.

И всё же едет. Он не хочет пугать Нину, но в их прощании звучит безысходность. Он вручает ей кинжал, подаренный горцем:

«Будь тверд душой» – надпись, ставшая обетом.

Александр просит молодую жену: если погибнет – похоронить его в Давидовом монастыре, на Мтацминде.

Перед отъездом рука Нины дрожала в руке отца.

Эти страницы романа – одна из самых трогательных сцен в русской прозе.

Грибоедов писал Варваре Миклашевич:

«Нинуша, моя жена, не жалуется, всем довольна... Полюбите мою Ниночку. Хотите её знать? В Эрмитаже... есть Богородица в виде пастушки Мурильо – вот она».

Он оставляет жену – беременную – в Тавризе.

И уезжает навстречу судьбе.

Посольство в Тегеране было обречено. Англичане предупреждали, интриги сгущались. Грибоедов отвечал:

«Я говорю от имени Империи».

Этими словами он подписал себе приговор.

«Джихад! – кричали фанатики. – Священная война! Не против армии – против одного человека. Против посла. Против поэта. Против чужака в очках, осмелившегося требовать справедливости».

Полномочный министр успел надеть мундир и боролся до последнего вздоха. 30 января 1829 года посольство было растерзано. Тело Грибоедова опознали по простреленному пальцу.

Но страшнее смерти стало молчание – торжественный приём персидской делегации, подарки шаха, и холодные слова императора:

«Я предаю забвению Тегеранское происшествие».

Так великая трагедия была смыта речами дипломатии.

И в финале работы – словно шепот Тынянова:

«Любям двадцатых годов досталась тяжёлая смерть, потому что век умер раньше их. У них в тридцатых годах было верное чутьё, когда человеку – умереть».

Мы подходим к последней, самой пронзительной части повествования – к жизни Нины Грибоедовой **без него**.

Место, где наступает человека весть о смерти любимого, – становится его вечной меткой, его крестом и алтарём. Всё, что было потом, уже не жизнь – а память, впаянная в ткань мира, в дыхание города, в шорох листвы у подножия Мтацминды.

Маркаров не описывает, **как** Нина жила после этой трагедии – он словно позволяет нам **услышать** тишину, которая заполнила её существование.

Он не рассказывает – он молчит вместе с ней.

И в этой молчаливой музыке чувствуется страшная правда: невозможность быть, когда всё, чем ты жила, оторвано, сожжено и унесено.

Писатель достигает здесь редкого мастерства – его текст замедляется, дыхание фраз становится тяжёлым, как шаги вдовы, и читатель уже не наблюдатель, а соучастник, слышащий **сердцем** глухой, как набат, звук беды.

«Плакал и стонал Тифлис, боясь за жизнь Нины, омывая слезами неумное горе юной вдовы, ужасаясь: сможет ли перенести она такое и не сойти с ума, не наложить на себя руки?»

Сцена отпевания Грибоедова в Сионском кафедральном соборе, – в том самом, где ещё недавно звучал их свадебный обет, – становится у Маркарова символом высшего трагического круга: **начало и конец замыкаются** в одной точке. Так автор вновь обращается к своему излюбленному приёму – **сквозному переходу эпизодов**: мотивы, символы, даже фразы переходят из одной части романа в другую, как мелодия, что возвращается в новой тональности.

Эти повторения – не риторика, а дыхание самой судьбы.

Как невозможно понять Грибоедова вне его времени, так невозможно понять его вдову без её **времени после него**. И потому в ткань романа вплетены страницы, где перед читателем проходят великие тени – Пушкин и Лермонтов, те, кто понимали, что любовь и гибель поэта – неразделимы.

Пушкин – первый, кто склонился перед его гробом.

Его путь в Эрзерум оборвался встречей с вечностью:

«Господи... – прошептал он. – Кто?»

– Грибоедов... – ответил один из грузин, не глядя в глаза.

Пушкин соскочил с коня, снял фуражку, подошёл к гробу, припал к нему и долго стоял, не шевелясь. Лишь губы его шевелились:

– Загубили... загубили самого умного человека России... Он был всего на четыре года старше меня.»

В этом эпизоде нет вымысла – есть только великая, почти евангельская скорбь одного гения по другому. Так рождается не просто сцена – **священный миф о прощении двух умов**, двух сердец, горевших одной болью.

Историки не знают, была ли на самом деле встреча Нины с Лермонтовым – но **в романе она должна была состояться**, ибо она неизбежна: поэтическая необходимость выше документальной точности.

Глава «Кинжал» – одна из самых сильных в книге. Лермонтов приходит к вдове как человек, уже носящий в себе тень собственной гибели. Тихая скорбь Нины, её внутренняя чистота – словно зеркало, в котором поэт впервые видит себя не сквозь иронию, а сквозь сострадание. В их разговоре звучит то, что у Мережковского называлось «томлением духа» – тоской по вечности.

Когда Нина, вспомнив тревожные слова мужа – «вернусь ли я?» – достаёт из шкатулки **тот самый кинжал**, дарованный Грибоедову горцем, и вручает его Лермонтову, – это не просто жест: это **перепоручение судьбы**. Она словно говорит: «Возьми его боль, возьми его силу». И Лермонтов понял – и ответил стихами:

*«Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на мечь тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный».*

Эта сцена – одно из высших достижений романа, соединяющее Грибоедова, Нину и Лермонтова в единое пламя русско-грузинской трагедии, где любовь, поэзия и смерть становятся **тремя ликами одной тайны**.

Лермонтов потрясён не только красотой Нины, но и её **внутренним благородством**, этой безмолвной царственностью скорби. И когда он поднялся на гору Мтацминда, к её могиле, он заметил, что на каменном памятнике у женской фигуры – руки Нины. И в этот миг поэт, привыкший к тьме, понял: **любовь сильнее времени**, потому что она превращает плоть в камень, а камень – в песнь.

Так завершает В. Маркаров свой роман – не плачем, но светом. Он возводит над прахом героини не надгробие, а **собор памяти**, в котором живут их голоса: Сандро, Нины, Пушкина, Лермонтова, Ермолова, – всех, кто любили и страдали в ту огненную эпоху. Роман становится не просто историей любви, но **медитацией о вечности**, где каждое чувство, каждый поступок и каждая смерть обращаются в слово – а слово в бессмертие.

Послесловие

Жизнь Нины Грибоедовой не была жизнью отшельницы, хотя скорбь навеки поселилась в её сердце. Она несла свой крест тихо, с достоинством, подобно святой, что принимает страдание как высшую форму любви. После гибели мужа она не замкнулась в трауре, а стала опорой для семьи, хранительницей очага, продолжательницей духовного завета Грибоедова. Но главной её миссией стало исполнение данных обетов.

Первым из них был памятник – не просто надгробие, а каменное продолжение любви. Он был изготовлен в Москве и установлен на горе Мтацминда, там, где хотел покоиться Александр Сергеевич. Над белым мрамором склонялась фигура скорбящей женщины – воплощение Нины, ставшей в глазах народа символом вечной преданности.

Судьба не щадила «мадонну Мурильо», как называли её современники. Потери преследовали Нину без пощады: трагически погиб отец, затем умерла мать. И всё же были мгновения утешения – пьеса «Горе от ума», наконец, прорвалась на сцену, вышло

первое издание, о котором так мечтал Александр. Судьба будто позволила ей на миг услышать его голос из-за граней бытия – голос, что шептал: «Нина... я живу в слове».

Маркаров ведёт читателя по этим последним страницам не как хронист, но как поэт судьбы. Мы чувствуем дыхание конца, то трагическое замедление времени, когда смерть уже рядом, но человек всё ещё служит любви и долгу. «За последние три десятилетия холера уже шесть раз совершала набеги на город, и он знал её свирепость и коварство», – пишет автор. И снова, как в начале романа, звучит этот роковой мотив: круг замыкается, предназначение исполняется.

Когда беда пришла в Тифлис, Нина не покинула город. Её долг милосердия удержал её среди больных и умирающих. Она спасала чужие жизни, но не спасла свою. Её последние слова были как молитва, как тихое обращение к тому, кто ждал её за гранью:

«Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушёл. Мы скоро свидимся, свидимся... и я расскажу тебе обо всём. И мы уже навеки будем вместе, вместе...»

В бреду, когда смерть уже клонила её голову, Нина прошептала: «Меня... рядом с ним». Так исполнилась её последняя воля.

Теперь они покоятся вместе – на горе Мтацминда, где воздух прозрачен, как слёзы любви, где вечерами солнце касается камня так, словно гладит его ладонью памяти. На мраморной плите – слова, в которых запечатлено всё величие человеческого чувства:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской... но для чего пережила тебя любовь моя?» И подпись – без титулов, без земных отличий, как клятва души: *«Незабвенному его Нина»*.

Так завершает В. Маркаров свой роман – не точкой, а светом, струящимся сквозь трагедию. Он поднимает земную историю любви до степени легенды, где Нина становится не вдовой, но живым символом вечной женской верности.

В этом – сила книги: она не только рассказывает о любви, но и утверждает её как закон бытия, как мост между жизнью и смертью. Так народная память, благодарная и трепетная, увенчала их имена, вписав их навеки в камень, в слово, в сердце истории.

ОДЕССКАЯ СТРАНИЦА

Одесса: история и люди *Гости ОС*

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Одесские стихи

ПОСЛЕ ПОЛНОЛУНИЯ

Как в Одессе, столице юга,
Ходит гоголем вся округа,
По ветвям пробежав упруго,
По утрам холодок встаёт, –
Выйдет парень, в петлице – роза,
Молдаванский птенец, угроза,
На ресницах – налёт наркоза,
А над ним голубок поёт.

И девица, совсем иною,
Чем недавно, порой ночью,
Точно птица тропой степною,
Подойдёт и обнимет вдруг, –
В этой паре – краса истомы,
В этой каре – сердцам весомы,
Не напрасно они несомы
На алтарь к божеству разлук.

Отрешённо летит машина,
Перекушена пуповина,
Переполнена сердцевина
Золотящимся роем ос –
Истомило давно участие,
Значит, плод не вкусить на счастье,
Пусть скорее придёт ненастье –
Эта власть не спасёт от слёз.

Розы, розы душе верните,
На лицо иногда взгляните,
Словно око, луна в зените –
В этих чарах избыток вод, –
И в чертах волшебства наитий
Столько рвётся судеб и нитей,
Что становятся всё открытей
Каждый вечер и каждый год.

ГДЕ ВСЯ ОДЕССА

Сюда, где вся Одесса на виду
Иль на людях – пока ещё не знаю –

Негаданнее, стало быть, приду –
А ныне говорю, припоминая,

Чтоб выплеснулись влать, как никогда,
Листвою воспалённою увиты,
Трамваев беспокойная езда
И обнятые полуднями плиты.

И прелести немеркнувший намёк
Оттуда, где Левант изнемогает,
Разнежился и словно занемог,
Но исподволь томит и помогает.

И воздух, укрупняющий черты,
В завидной невесомости сохранен,
И некогда расспрашивать цветы –
Их перечень заведомо пространен.

Так мягко надвигаются дожди,
Что поступью красавицы осенней
Биение, возникшее в груди,
Мелодии верней и совершенней.

Столь много зародилось не вчера
Попыток отрешенья и порыва,
Что моря безмятежная игра
Очерчена изгибами залива.

Хождения по мукам не видать –
Найди его, приметы разглашая, –
Ведь будущему проще помогать,
Хождение по крышам разрешая.

И что тебе раздумия судьба,
Когда не донимают из туманов
Акаций средьсентябрьская резьба
И целая колония платанов.

И что за безнаказанный каприз
Помог неописуемо нарушить
Лепнины сплин, осыпавшийся вниз,
И помыслы досужие на суше?

Теперь я вопрошаю у тебя,
Раскаянья раба и упованья, –
Куда ты подевала, разлюбя,
Авзонии одно воспоминанье?

Не слышала ль, кого я навестил,
Где подняли наполненные чаши –

И кто меня и принял, и простил?
Ужо тебе, кормилица-мамаша!

Постигну ли когда-нибудь с утра
Торжественнее благовеста ветры
И это воплощение добра
Под флагами Гермеса и Деметры?

Так трогательно вышептаны ртом
Ограды, как привет из океанов,
Фронтон, балкон – и скошенный притом,
И странная традиция Фонтанов!

Но что же безвозвратное внесу
Из молодости, горькой и чудесной,
Сюда, где вся Одесса на весу,
Как чайка одинокая над песней?

ОБЕЩАНИЕ ВСТРЕЧИ

Где трамвай, отзвенев, промелькнёт
Переимчивым вестником зноя,
Подивившись летам напролёт,
Повстречаюсь я с вашей четою.

И тогда-то воскреснет пора,
Где, слова сопоставив с листвою,
На знакомом пространстве двора
Наболевшую радость не скрою.

Что сказать вам? – я вновь не один –
Здесь и город, и степь неведимы,
И не в них ли значенье картин,
Что с природой давно воедино?

Где меж южных ветров рождены
Для служения правде, к тому же,
Ястребиное око жены
И печаль несравнимая мужа.

Что за взлёт колыбели степной
Умещается в комнатах этих,
Где и море почти за стеной,
И часы проведёшь, не заметив?

И откуда в них столько тепла,
Ненавязчивой сути без масок?
Украина затем и мила,
Что сама – объяснение красок.

И поэтому нам по пути,
Хоть скитанья в былом разлучали, –
Только вырос я рядом почти,
Те же звёзды увидел вначале.

Потому и живём не во мгле,
Чьё обличье извели сами,
Ради песен на этой земле
Перед встречей с её небесами.

САДЫ ОДЕССЫ

Быть может, в осени степной,
Широкой осени приморской,
Есть дух людской и толк иной,
Где пепел битв насыпан горсткой.

Как шорох лет, шероховат
Летучей мыши взмах бесшумный –
И разве в этом виноват
Навет фантазии бездумной?

Где каждый промах был как нож,
Кого ты ждёшь? чего желаешь?
Не потому ль туда ты вхож,
Откуда выхода не знаешь?

Пусть азиатские черты
Присущи людям и растениям –
Но к ним присматривался ты,
Подвержен частым огорченьям.

И вспомним, если помолчим,
И укротим не потому ли
Перенасыщенность причин,
Кошмары полночи в июле.

Но что же чудится подчас
В бесплотной ткани сновиденья,
Куда подруга пробралась
Почти оправданною тенью?

Затем ли, чтобы возвратить
И горя глубь, и моря охрипь,
Иль с тем, чтоб напрочь запретить
Ненастье скрыть и степи охрипть?

Утехи в будущем щадя,

Мелькнёшь, как луч в оконной раме,
Где пьют обещанность дождя
Сады Одессы над буграми.

Рада ПОЛИЩУК. Несбывшаяся любовь безногого Элиягу

Безногий Элиягу, сын адвоката Мотла Шаевича, который своей несвоевременной кончиной подвел и разозлил однажды мою зловредную бабушку Дору, тоже был адвокатом и после войны какое-то время еще жил в Одессе. Но о нем почти и не вспоминали. К Мотлу Шаевичу весь город записывался на прием, только на его защиту уповали и воры в законе, и убийцы, и спекулянты, и злоумышленники, и без вины обвиненные: все. А Элиягу, для всех всегда раньше Элька, никогда иначе, пока был жив отец, пропадал в его тени, тих, неприметен был, а после войны еще и безног. Жалели, конечно, парня, но если и просили о чем, то помоги, мол, к отцу попасть, мол, очень нужно, жизнь на волоске висит. А что он сам адвокат – не вспоминали. Ясное дело, Мотл Шаевич – шишка, а он, Элиягу – никто. Страдал парень, но виду ни перед кем не показывал.

Когда отец умер, Элиягу пропал совсем. Не сразу и хватились, что нет его в городе, а узнав, что навсегда переселился на Святую Землю, пожимали плечами, удивлялись, возмущались, одобряли, помалкивали – кто как реагировал. Тогда еще вся Одесса не сидела на чемоданах, Элиягу оказался одним из первых. Отъезд в Израиль навсегда – это было событие выдающееся, из ряда вон. Не на Привоз сходить в базарный день. Слухом земля полнится, и судачила вся Одесса про Элиягу безногого. Так неожиданно вышло, что и он стал знаменитостью.

Правда, ненадолго. Отъезды участились, тронулась с места Одесса. Многие решали для себя мучительный вопрос: ехать? не ехать? Плакали безутешно, как на похоронах, прощаясь на перроне, на причале, и махали, махали вслед отплывающему теплоходу, а с теплохода – тающей в густой пелене слез и зыбком морском тумане Одессе. Не до Элиягу стало: уехал и уехал.

Почему так поступил – никому объяснять не стал, даже троюродной по матери сестре Лизе, которая его и вытащила в приморский портовый город Ашдод. Звала, писала, красоты Земли Обетованной расписывала. Кто знает, может, бедная Лиза и рассчитывала на лакомый кусочек от большого пирога мишпухи Шаевичей. Лама ло? – как говорят на исторической родине на древнем языке иудейском. В самом деле – почему нет?

Но надо отдать должное Лизе: не получив в конце концов от одесских усопших Шаевичей ничего, буквально ни-че-го-шеньки, кроме безногого Янкеля, она тем не менее не озлобилась, не изводила его упреками, не гнала назад в Одессу за оставленным без присмотра богатством. Вообще словом не коснулась этой щекотливой проблемы. Воистину святая женщина на Святой Земле. Повезло одинокому безногому Янкелю, повезло. Не сказать что жили они душа в душу, но жили вдвоем: бедная Лиза, до шестидесяти лет безмужняя и бездетная, день за днем проживающая свое одиночество, смириться с которым труднее всего на свете, и Янкель, давно уже принявший как неизбежное – помирать ему бобылем, рано или поздно, без вариантов.

А пока сидит на берегу Средиземного моря, под палящим солнцем, отпивает маленькими глотками прямо из бутылки водку «Столичную», ничуть не пьянеет и, напряженно вглядываясь в морскую даль, поет красивым низким голосом рвущие душу любимые одесские песни. Громко поет, вызывая, и бегло осмотревшись по сторонам,

примечает, как многие бывшие земляки утирают слезы кто торопливо, стыдясь своей сентиментальности, кто долго сморкается и прячет в платок лицо и покрасневшие, припухшие глаза. Этим не стыдно, этим больно.

А Янкель ежедневно сыпет им соль на рану – чтобы не заживала.

Плещут о берег волны Средиземного моря, а он тянет: «...самое синее в мире Черное море мое, Черное море мое...». За спиной изнывает от жары израильский город Ашдод, а он поет о родной Одессе, защищая которую от немцев, двадцатилетним мальчишкой потерял обе ноги да так, что и протезы крепить было не к чему.

Отец, правда, узнав, что в Москве, в Лефортове живет немец, который за большие деньги на заказ хорошие инвалидные коляски делает, силой заставил Элиягу согласиться. Наотрез отказывался: у немца, орал, не буду, лучше на деревянной повозке всю жизнь шкандыбать или на брюхе ползать. Элиягу орал и страшно матерился, по-солдатски, тихий интеллигентный мальчик из добропорядочной еврейской семьи. Уговорил все же отец, долго про обрусевшего, ни в чем не повинного лефортовского немца растолковывал, успокаивал, водкой поил и тоже ругался матом: Элиягу онемел от неожиданности – впервые в жизни от отца такое услышал.

Съездили в Москву, заказали коляску. Отличная была коляска. Одна на всю Одессу, на всех безногих инвалидов.

«Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали как дорог...» – поет Элиягу об Одессе, сидя в своей коляске спиной к Ашдоду.

В другой коляске. У него теперь все другое. И протезы здесь, в Израиле ему, старому еврею, участнику обороны города-героя Одессы изготовили такие, что в них не то что ходить, наверное, и бегать можно было научиться. Только не стал Элиягу носить протезы, не смог пересилить себя. К тому времени тридцать лет и три года не было у него ног, ни своих, ни искусственных, никаких. Он забыл ощущение ходьбы и не захотел вспоминать. И автомобиль с ручным управлением не захотел, не привык к такой роскоши.

Совсем другое дело новая коляска – она вернула ему все: полную свободу, независимость, скорость, он был лихачом, как в детстве на самокате, позже – на велосипеде, никакого страха. Иногда так разгонялся – казалось, вот-вот взлетит, оторвется, наконец, от земли, от своей чудесной коляски и унесется за облака, в прозрачную бездонную синь. «Ах, Одесса, жемчужина у моря...» Там его жемчужина – предвоенный прекрасный город, там Идочка, голубоглазая принцесса, несбывшаяся любовь. Все, что было когда-то жизнью, все – там, за облаками. Даже, иногда кажется, его ноги бродят-мечутся, ищут чего-то, бесхозные, ничьи, как и он здесь – ничей. Да простит его Бог и бедная Лиза. Не с ней он, нет, не с ней.

Единственная женщина в его жизни – голубоглазая, золотоволосая Идочка, Золушка при старой злюке Доре, которой его отец долгие годы после смерти матери оказывал церемонные и бесполезные знаки внимания. Сам Элиягу любил Идочку тайно, не проявляя, как ему казалось, никаких внешних признаков влюбленности. И хоть сердце трепетало от смущения, смятения и страха, он наперекор себе дерзил ей, насмешничал. Все иное было бы бесполезно – решительно подсказало ему не мальчишеское чутье, а твердый взрослый голос, прорвавшийся из не наступившего еще завтра, из не обретенного еще опыта неслучившихся потерь, несбывшихся надежд.

Все правильно, говорил себе Элиягу, думая о том, что его Идочка выйдет замуж за Бориса, несмотря на козни старой Доры. Все правильно, твердил он, едва сдерживая слезы. Я – кто? Пацан, шкет, на семь лет младше ее, рыжий, веснушчатый, вечно лохматый. Борис, ее жених – мужчина, красавец, во флоте служит, в институте учится, инженером будет. А я, кем бы ни стал, навсегда останусь сыном Мотла Шаевича, думал Элиягу, как в воду глядел.

Он шел за Баськой, которая вынесла из дома большой пакет с мусором, но быстро пройдя мимо помойных баков, юркнула через подворотню на улицу. Элиягу шел за ней, не в силах повернуть назад, неотступно, крадучись, как заправский агент сыскной полиции, и предчувствие близкого рокового события трепетало в горле

Возле центрального загса, неподалеку от Оперного, Баську ждали трое – Идочка, Борис и Бэллка, закадычная Идочкина подружка. Зашли в подъезд за углом, и когда снова подошли к загсу, он окончательно понял: они женятся. Тайком от злойки Доры, которая ни в грош не ставит его знаменитого отца, целующего ее усыпанные веснушками пальцы, едва прикасаясь к ним губами. Они оба в этом семействе оказались не в масть, да о нем, о Янкеле, что говорить, если сам Мотл Шаевич для старой Доры оказался не козырной картой.

Даже сегодня, спустя почти полвека, помнит Элиягу тот летний вечер сорок первого года до мельчайших деталей. И после жизни тоже будет помнить. А что еще такое же значительное произошло с ним за семьдесят лет? Только потери – люди, ноги, родной город. Одно лишь обретение – бедная Лиза, родственница – не родственница, сожительница – не сожительница. С ним ничего этого не было бы у нее, встретиться они не сейчас, а годами, десятилетиями раньше, – всё последствия того единственного ранения в первом же бою. Господи, всеильный, благослови, спаси и сохрани бедную Лизу. Только никто она ему, ничего тут не попишешь.

Вот Идочка – другое дело. Вспоминает ее давнишнюю свадьбу с другим, и сердце колотится как бешеное, вот-вот выскочит из груди на прибрежный жаркий песок средиземноморского пляжа.

«Ах, Одесса, жемчужина у моря...».

Кровь прихлынула к лицу – снова вспомнил свой гнусный порыв: скорее добежать до злойки Доры, проходными дворами и через заборы он минут за пять домчится – пусть помешает, пусть разрушит их счастье, пускай он, как и прежде, безнадежно мечтает об Идочке. Нет, не сделал этого Элиягу, совсем наоборот – свидетелем оказался на этой недозволенной свадьбе, официальным, не тайным из-за угла. Сбегал-таки домой – за паспортом и рядом с Идочкой в книге регистрации браков расписался, прикрыл глаза на миг, чтобы представить, что он – жених, а Идочка – невеста. И тут она его поцеловала. Спасибо, сказала, Элька, миленький, какое счастье, что ты случайно оказался рядом, без тебя пропали бы мы!

Поцеловала в щеку. Элиягу опьянел, будто один бутылку шампанского выпил, на глазах у всех, среди бела дня полез на клумбу прямо на Дерibasовской и нарвал для нее охапку цветов. У невесты на свадьбе должны быть цветы.

А потом каждую ночь умирал от горя, что Идочка, его принцесса, за другого замуж вышла. Днем твердил – все правильно, все правильно, так и должно быть. А ночью скрипел зубами от горя. Пока ног не лишился, жутко маялся, а когда очнулся после ампутации: первая мысль о ней, об Идочке: какое счастье, что за Бориса вышла. Он и сейчас так думает: какое это счастье, ведь Борис просто погиб и все, нет его, исчез на дне морском. А он, несчастный, безногий инвалид всем навеки обуза.

«Одесса, мой город родной...»

Тайну Идочкиной свадьбы Элиягу хранил свято, его хоть каленым железом жги, не выдал бы никому. А недавно ни с того ни с сего рассказал всю эту историю чужой голубоглазой девушке москвичке. Присела рядом с ним на песок, послушала, как поет, подпела высоким волнующим голосом, не только мелодии знала, но и слова, потом спросила про Одессу, слово за слово – не заметил, как рассказал все, что долгими ночами снилось всю жизнь дома, в Одессе, и сюда с ним переехало. От себя нигде не спрячешься, прошлому все равно, какой твой почтовый адрес, оно своими путями в пространстве перемещается. Понадобисься – в любой норе отыщет.

Так и Элиягу безногого настигло одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее: все в одной точке скрестилось, как лучи прожекторов.

– Я знаю дочку вашей Идочки, она в Москве живет. Всю эту историю от нее слышала.

– Бориса дочка? – только и спросил.

– Нет, ее отца зовут Ефим. Хотя после войны в Одессе многие думали, что это дочка Бориса. И его мать их долго доставала, чтобы внучку ей отдали. Но не сходится, по годам не совпадает. Борис в сорок первом погиб, а Викуся родилась через несколько лет.

– А Идочка, она жива?

Зря спросил, сердце пронзила такая тоска, какой он еще не знал. Допил «Столичную» до дна, не дожидаясь ответа, развернул коляску и покатил прочь, не попрощавшись.

Поэзия и проза одесских авторов

Валерий БОДЫЛЕВ. Эскиз неведомого года.

АННЕ ГОР

У зим бывают имена.
Д. Самойлов

У каждого лета есть имя и знак,
Одно называлось Еленой.
Подсвечивал ночь Воронцовский маяк,
И таяла тьма постепенно.

Короткая ночь, недолгий роман.
Он наспех и вскользь был прочитан.
И, помнится, был обоюдный обман
С лукавою Маргаритой.

Но с нынешним летом всё как-то не так,
И как на картине Сезанна,
Зажжённый от солнца горит известняк,
И воздух дрожит, как стеклянный.

Ничто не меняется на полотне
За сто с лишним лет у Сезанна.
И к этому лету подходит вполне
Тех давнишних красок сиянье.

И вся неизменность, размеренность дней
И августа жар постоянный,
Скорее всего, заключается в ней,

В той женщине с именем Анна.

* * *

Отставленный эскиз
Неведомого года –
Он про другую жизнь,
Забытую сегодня.

Мне нужен мастихин, –
Снимаю слой за слоем
Неявности причин,
Придуманных тобою.

Мне темпера важна,
Чтобы извлечь из тени
Сухой остаток дня,
Блеск моря переменный.

И там, на фоне скал
Твой силуэт чеканный,
И кто кому сказал
Два слова на прощанье.

Тех слов уже давно,
Пожалуй, нет в помине.
Былое сведено
Там за обрез картины.

Так некое число
Выносится за скобки –
Простое ремесло
Для счетоводов робких.

Быть может, жизнь – цифирь,
Подсчёт разлук, свиданий –
Закованная ширь
В этюде без названья.

Осталось лишь одно,
Что связано с тобою –
Белёсое пятно
На стареньких обоях.

ЮГО-ЗАПАД. ПОСВЯЩЕНИЕ БАГРИЦКОМУ

Юго-запад значит – зюйд-вест,
но не лоция – литература,
исключение общих мест,

так сказать, речевая фигура,

Юго-запад и всё, что в связи
находится с этим значением
по горбтому морю скользит
косога паруса тенью,

По Дальницкой несёт в узелке птицелов
дыню в крапинку, хлеба краюху.
Он как будто из тех рыбаков,
что о поэзии ни сном и ни духом.

Без аттической соли их разговор,
черноморская - то поглубее.
Их дубки вырезают узор
на зелёном стекле Хаджибея.

Низкий берег, лиманные солончаки,
шаткий ветер зимы бесприютной,
набегающих волн косяки
и все прочие атрибуты,

что вписались, проникли в состав
стихов юго-западного направления,
узловатой бузинною дудкою став
уже вычеркнутого поколения.

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ КАРТИНЫ ИОСИФА ОСТРОВСКОГО

А мне хотелось бы вот так
вспять обратиться, вникнуть,
увидеть как сквозь мутный лак
проступят образы и лики.

Светлеют язычки огней
давно отцветшего каштана
и кажется фасад бледней
того собора из Руана, –

столь ярок летний день тех лет,
оттаявших шестидесятих.
Край неба выцвел, ветра нет,
брусчатка без теней поката.

Ну что ещё? Каких примет
ещё художник не подбросил?
Он медлит, щурится на свет
и ставит знак в углу – Иосиф.

ФЛЕЙТИСТКА НАННО

Флейтистке Наталье Чулаковой

"...стих Мимнерма имеет в любви больше силы, чем Гомер"

Пропорций, древнеримский поэт

"Флейтистка Нанно" ионийца Мимнерма
до нас не дошедший античный роман,
чья фабула – страсть, расставање, неверность
и прочий словесный туман.

Какою была: рыжевата, белёса?
Ах, это неважно, не всё ли равно.
Поэт на папирусе знаки наносит,
взывает, стонет: "Флейтистка Нанно !"

Проперций, один из свидетелей праздных,
ещё этот список встречал на руках,
но даже тогда текст был несколько смазан –
пробелы и допуски в спорных местах.

Но в зыбком, струящемся отраженье
реки, где два раза бывать не дано
я, кажется, вижу флейтистку Нанно
и флейты у губ пересохших движенье,
её отведённый чуть в сторону локоть
и чёрную флейту у рта.
Без выгоды жалкой, без всякого прока,
играющей просто с листа.

ПУШКИН НА КАВКАЗЕ

Посвящение Марии Валерьевне

Пушкин – бывший лицеист
покорил холмы Бештау.
Дневника исчёркан лист, –
запись краткая, простая.

Он с Раевскими в тот год
колесил по Пятигорску.
Выбелен в их доме свод
по-старинному извёсткой.

Перед Машей наш пострел
изменил свои повадки.
В дневнике его – пробел,

утаённая загадка.

Он заметил с Машуком
имени её созвучье.
Будто джутовым мешком
накрывала гору туча.

А поэт с Раевской шёл
по тропинке наклонённой.
И в беседке пел Эол*
для любви сооружённой.

Но оставил горный вид
Александр для описанья,
чтоб уже другой пиит
в офицерском доломане

поднимался на Машук,
даль окидывая взглядом.
Вот зачем как будто вдруг
Пушкин рвал свои тетради,

чтоб спустя 16 лет
тех времён герой сторонний
покидал столичный свет,
мрачной думой угнетённый.

Он роман про Пятигорск
и черкешенок представит
перед тем как порох в горсть
соберёт, чтоб ствол заправить

для намеренной стрельбы
в друга бывшего ль, черкеса.
Разве спросишь у судьбы
в дымной пороха завесе.

*Эолова арфа – беседка на склоне Машука

* * *

И вдребезги разбиты
все амфоры давно.
Красотка Афродита
идёт смотреть кино.

Гефест глухой жестянщик
лущует что есть сил.
Он для Пандоры ящик
уже соорудил.

Арес – честной воитель
томатный с водкой сок
как кровезаменитель
льёт, не скупясь, в песок.

А Аполлон лютует,
шлёт стрелы в небосвод.
Не точку, запятую
война вставляет в счёт.

Уют наводит Гера
в разрушенных домах.
стирая лицемерно
отчаянье и страх.

А Зевс взирает мрачно
на этот весь бедлам.
И Ниобея плачет
по девяти сынам.

И только нет Афины,
что разумом горда.
И также нет доньне
на всё это суда.

Ирина ДУБРОВСКАЯ. Где-то музыка звучала...

ОПЯТЬ ВЕСНА

Опять весна. Надежды и мечты
Проснулись, зачирикали, как птицы,
И хочется, как в юности, влюбиться,
До жарких слёз, до робкой немоты.

Природа пробуждается от сна,
Стирая всё, что низменно и грубо,
И так же целомудренна, юна
Душа, её старинная подруга.

И поутру распевшийся певец
Слагает песнь о том, что люди – братья,
Что ненависть изнашивается, как платье,
И выброшена будет наконец.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Не говори, что радость умерла,

Ведь не она, а мы о ней забыли.
Увы, мы слишком долго с болью жили,
И эта боль по жизни нас вела,
Как властная суровая хозяйка,
Ревнивая к иным поводьям.
Теперь скажи мне правду, без утайки,
Готов ли ты по жизненным морям
Пуститься вновь, за паводком весенним,
Под парусом надежды и любви?
Готов ли ты к чудесному спасенью,
Сумеешь ли взрасти не на крови,
А на живой воде Преображенья,
И опыт болевой преодолеть?
Прошедшему огонь самосожженья
Порой для жизни трудно уцелеть.
И нелегко ответить на вопросы
Теперь, когда весна уже в груди:
Волнует кровь, сулит большие грозы,
А ты ей глухо шепчешь: «Уходи...»

* * *

Где-то музыка звучала,
Где-то мать дитя качала,
Где-то жизнь начать сначала
Кто-то был бы рад.

Где-то жарили картошку,
Где-то плакали немножко,
Где-то в дальнюю дорожку
Уходил солдат.

Где-то двое были вместе,
В сладком тили-тили-тесте
Целовал жених невесте
Нежные уста.

Ах, какая ж это, право,
Жизнь прекрасная забава,
Жизнь опасная отрава,
Вечность и тщета.

Как бы суть не потерять бы
Ни на службе, ни на свадьбе,
Чтобы прахом да не стать бы
У неё в ногах.

Если грусть тебя качала,
Если боль тебя кончала,
Ах, начать бы всё сначала,
Отряхнувши прах.

* * *

Ты знаешь, а рыбы умеют петь...

А. Коровин

Поживи-ка ты у синих морей,
Поищи-ка ты всеильных царей.
Попроси немного ласки земной,
Принеси немного жизни иной.

Чтобы всякая наполнилась брешь,
Чтобы воздух стал прозрачен и свеж,
Чтобы в радости пребыть, не в тоске,
Чтоб под парусом поплыть налегке.

Но проситель ты, как видно, плохой.
Уж скорей отчалишь в вечный покой,
Чем отправишься к царям на поклон.
Зубы стиснешь, точно взятый в полон,

И научишься без воздуха жить,
И притерпишься без паруса плыть,
И губами шевелить в тишине,
Только Богу доверяя вполне.

* * *

Воды подземные глубоки,
Слышу их речи грозные:
Не выходи, дитя, за флажки,
Спросят с тебя по-взрослому.

Лучше уж дома ты посиди,
Лучше в окошко ты погляди,
Слушайся старших, маленький.
Сердце колотится ли в груди,
Страшное ль чудится впереди, —
Глазки закрой — и баиньки.

Если что знаешь — о том молчок.
Спрячь своё знание в кулачок
И кисельком малиновым
Глотку заткни себе, дурачок,
Чтоб не попасть тебе на крючок
С колом в груди осиновым.

* * *

Капитан корабля потерял свой компас.
Некуда плыть, всё громче рокот волны.
Этот мир стал похож на раковый корпус,
Чувство такое, что все в нём обречены.

Как с этим чувством справиться, я не знаю.
Хаос и страх на палубе корабля.
Капитан, прошу, найди,
Найди, заклинаю,
Этот компас проклятый
И крикни скорей «Земля!»

* * *

Всё как у Чехова: кажется, что вот-вот
Выход найдётся, злые падут тенета.
Но с каждым днём понимание всё растёт,
Что это лишь начало и нет просвета.
И обживаешься в этой ночи глухой.
Жизнь – ты читал уже, знаешь, – полна обмана:
Вскинется только, помашет тебе рукой,
И растворится снова в клубах тумана.

* * *

...И повторится всё, как встарь...
А. Блок

Как знать, что Бог ещё присудит,
Пока стоит земная твердь?
Уйдёшь, а здесь всё то же будет:
Обман, безумие и смерть.

Всё так же лбами будут биться,
Дыша враждою, племена,
И кровь людская будет литься,
Покуда в жилах есть она.

И только в песнях менестреля
Услышат люди вновь и вновь,
Что светит свет в конце тоннеля
И не кончается любовь.

* * *

Око за око, вечное «кто кого?»
Не отрекись от имени своего!

Чёртовы игры, вялое большинство.
Не отрекись от имени своего!

Новое имя, выгоднее того.
Не отрекись от имени своего!

Морок, безумье, хаоса торжество.
Не отрекись от имени своего!

Петлю накинут, спросят: «Ты за кого?»
Не отрекись от имени своего!

* * *

Море синее ходит волнами,
Ночь стоит над городом.
Закружили чёрные вороны
Да над белым голубем.

Налетели, поганцы, стаями,
Да ещё слетаются.
И становится явным тайное,
И трещат-ломаются

Глыбы вечные, нерушимые.
Утомлённый бранями,
Не сдаётся тьме свет души моей,
Бьётся голубь раненый.

* * *

Будь милосерден, видящий, к слепым!
Они во тьме, глаза у них закрыты.
Окутал их иллюзий сладкий дым,
Спелёнутое сердце не разбито
И ум невинен. Девственен и юн,
Познанием он себя не беспокоит.
Будь милосерден, тех не трогай струн,
Что их смутят, но глаз им не откроют.

* * *

А когда не спится,
Подхожу к окошку.
Вижу – кружит птица,
Слышу – плачет кошка.

Нагнетая страсти,
Ветер с моря дует.
Чувствую – о счастье
Человек тоскует.

* * *

А чувства как волны – прильют и отхлынут.
Сегодня вскипят, а завтра остынут.
Сегодня зальют, заштормят, заиграют,
А завтра уйдут и тебя не узнают.
Вот так и живёшь, от прилива к отливу.
То море спокойно, то море бурливо.
То угли мешаешь, их жару послушный,
То пепел глотаешь во тьме равнодушной.

Вот так и плывёшь, сам к себе привыкая,
Пока не иссякнет стихия морская.

ОРФЕЙ

*О, пожалейте бедного Орфея!
Как больно петь на вашем берегу!*
Вл. Ходасевич

Не дитятей истеричным
Быть поэту наших дней.
В этом мире прозаичном,
К звукам лиры безразличном,
Вопреки шутам публичным
Должен выступить Орфей.

Провести по струнам нежно,
Расплескать огонь во мгле,
Чтоб стали неизбежны
Песни неба на земле.

Не хулите, не хвалите,
Не судите невпопад.
Поклонитесь. Помолчите.
Ведь ему спускаться в ад.

Владислав КИТИК. Минувших споров календарь

ЮЖНАЯ ЗИМА

В Одессе и декабрь – одесский:
Тепло. Шёл дождь сам по себе.
С гортанным клетотом по-детски
Он горло полоскал трубе.

По жести кровельной чеканщик,
Шагам назначив интервал,
Он, окуджавский барабанщик,
С утра побудку нам сыграл.

Как ребус, рассуждая здраво,
Влилась дорога в обиход, —
От фонаря уводит вправо
Её сюжетный поворот.

Трещит событий кофемолка,
Клаксон грешит на тормоза,
Снегов заждавшись, колет ёлка
Зелёной правдою глаза.

Глядит, толкуя не превратно
Твой каждый жест и каждый миг,
Придирчивый, как реставратор,
Из каждой лужи твой двойник.

И от дождя сутуля плечи,
Понять согласен и принять,
Что это дело человечесьё –
Себе погоду сочинять,

И жизни соперживая,
Дождю, что зиму перепел,
В свет перспективы на трамвае
Уехать под звонков капель.

* * *

Январю вольно играть в бирюльки,
Хоть и седоус, как поглядишь.
И мерцают бахромой сосульки
По каёмке леденцовых крыш.

С чердаков пустых снимает порчу
И звенит фамильным хрусталём.
Вслед снегам фантомы рожи корчат
Без обид: спасибо и на том!

Ты ступаешь и под ноги смотришь.
Ищешь равновесье, входишь в транс.
Мир — босяк, тартюф и перевёртыш,
Был и сам бы рад держать баланс.

Ветер мчится в темпе конькобежца,
Заморочил пеших гололёд.
Пусть паденье в духе *intermezzo*
Предвещает будущий полёт.

Уходя в запас, метель-шаманка,
Превращает лужи в зеркала,
Амальгамной дразнит обезьянкой,
Февралём грозя из-за угла.

* * *

Возле моего дома проходил маршрут трамвая №23. Он давно снят. Но иногда, когда есть время, особенно весной в теплый день, прохожу по бывшей линии. Просто так...

В.З.

Мостовая, как правда: голая.
Сталь гремит, стекло дребезжит.
Словно осень – городу голову,
По маршруту трамвай кружит.

Вот и я в нем стою – подпрыгиваю
С давней давностью в унисон
Он желаньям моим подыгрывает.
Вверх по Ольгиевской, где уклон,

Где на рельсы труды намотаны,
Где встаёт от булыжника пар,
Там он с вывертами, с поворотами
Огибает Новый базар.

Потихонечку, понемножечку,
Чуть позвякивая, как ключи.
Вот запрыгнуть бы на подножку,
И где вздумается, соскочить.

Это с практикой дело плёвое.
А трамвай ползёт по кривой,
После цирка берётся Садовая,
Куролесить жёлтой листвой.

А кондуктор строг – делать нечего:
Искуплю проезд медяком,
Всё по площади, да по Греческой
Со звоночком и с ветерком

В направлении к парку. Блестящий
Рельс изъят. А трамвая нет.
Он с прицепом своим дребезжащим
Честно вытянул тяжесть лет.

По мосту пройдя до Канатной,
Завершил безоткатный путь.
Повернёт вожатый обратно,
Только этот рейс не вернуть.

Нет проблемы – ей и не внемлют.
Что не так-то? Да всё не так.
Утомился кондуктор и дремлет,
Чуть качаясь дороге в такт.

С крыш спускается вечер синий.
Помашу вослед: «Ну, бывай!».
Превратившийся в образ, в символ,
Заблудившийся мой трамвай.

* * *

Резануло с норда сизым крылом.
Что ни улица — сплошной раритет,
Как музейный экспонат под стеклом.
Я хочу побыть с зимой тет-а-тет.

За окошком колотун холостой.
Лбом коснусь окна и жар остужу.
А из дома за порог — ни ногой.
Я и так канатоходцем хожу.

Равновесье потерял гололёд.
Только масленице всё нипочём.
Будет день седьмой: простишь — всё пройдёт,
Что неволило. Блинов напечём.

Сложим стопкой блин на блин золотой.
Чтоб, не сохши, сохранялись они,
Сверху смажем их сметаной густой.
И круглы у нас, и солнечны дни.

Наугад подброшу вверх пяточок.
Сам себе и птицелов, и авгур.
Галка села фонарю на плечо
И грассирует, как Шарль Азнавур.

* * *

Весёлый город опустел,
Блестят ледышки, как шевроны,
И тщатся ловкие вороны
Очистить зёрна от плевел.

Сплошь дух безлюдья нежилой.
Кураж в формате рельсов ржавых.
С рукой протянутой держава.
Фейк, нацарапанный иглой.

Все знаки с циферблата смысл
Февраль с сосулькой вприкуску.
Нет ни души. Бульвар Французский
Кольнёт, как острый галльский смысл

В забытых песнях Беранже.
Не в пользу аргументов веских
Уже и расставаться не с кем,

И не с кем встретиться уже.

В туман уносятся авто,
Тревога машет рукавами.
Один жонглирую словами
В безумном этом шапито.

С 13 НА 14 ЯНВАРЯ

Есть правда на земле. Своя. А выше
Другой завет, но мы его не пишем.
Мы любим, помним, думаем и дышим
И вносим в жизнь, преодолев укор,
Из прошлого веселье контрабандой,
Зудят традиций вырванные гланды,
И черно-белый, словно мишка панда,
Контрастов полный календарный спор.

Грядут снега, как белые отары,
Крупы мешают в небе кашевары,
И Старый Новый год совсем не старый
Разбрызгал в ночь бенгальские огни.
С проворностью ума конфуцианской
Листаем календарь по-юлиански,
Он зимнему перформансу с «Шампанским»,
Подходит, только к месту помяни.

Как наши деды славные, куда-то
В обратный путь, в еловые пенаты
Мы провожаем время виновато.
Как не воскликнуть: «Ах, какой пассаж!».
А праздник крут, в его столоверченье
Свой срок и нрав, загадка и значенье,
И парадоксы необыкновенья,
Он нам понятен, потому что наш.

Покуда мир, вращеньем увлечённый,
Несётся, чмокнешь яблоком мочёным,
На праздник в самозванстве уличённый
Глядят запретов красные флажки.
Взойдёт луна, разбуженная лаем.
Мы целый год под ручку провожаем.
Не скажут звёзды — и без них узнаем,
Кто выйдет в дамки или в дураки.

* * *

Давай сейчас, не выбирая день.
Уедем в глушь, обильную грибами,
Где тишь, как на картине с лебедями,
И мшистым лесом пахнувший плетень.

И в то, что этот мир не так суров,
Как он недружелюбен и несносен,
Когда своих не замечает вёсен,
Поселит веру наш случайный кров.

Отпустим с ветром лишние дела
И улиц неразгаданных кроссворды.
И я припомню пять «блатных» аккордов,
Чтоб по-жигански спеть «Колокола».

Про юность нестареющих дворов,
С печалью голубиной, с палисадом,
Со стенкой, вдоль которой жмутся рядом
Сарайчики с оглядкой на воров.

Мы будем лептой точек отправных,
Как миг бессмертья наш, что в небыль канет,
И слушать листопадное бельканто
И запись жизни в ямбах дождевых

Той, о которой будем вспоминать,
Чтоб никогда не расставаться с нею,
И будет миг тянуться тем длиннее,
Чем дольше нам не хочется вставать.

* * *

Средь осенних угодий,
По привычным местам
Моя молодость бродит,
Я за ней по пятам.

Мало спросят ли, много —
За ценой не стою.
С ней шагая не в ногу,
Вместе с ней отстаю

От обид и нелепиц.
Ключевой поворот.
Мне знакомый троллейбус
Огоньком подмигнет.

Круглый счёт остановок,
Игры с веком вничью.
С каждым разом как новость
То, что знал, узнаю.

По-кошачьему спину
Выгнул Строганов мост.

Городская картина,
Словно поднятый тост.

Глядя вниз, поднимаюсь
Над мирской суетой,
Вижу Красный пакгауз,
Крыш загар золотой,

Смыслы слепков и трещин,
Пароходик в дыму.
Слышу речь птицы вещей,
А о чём — не пойму.

От эклектики этой
На ветру, на снегу
Никуда не уеду,
От себя не сбегу,

Отболев свои вины,
Затерявшись в миру,
Никого не покину,
Никогда не умру.

* * *

Разговариваю с морем,
А оно меня не слышит.
Захочу его послушать,
А оно в ответ молчит.
Буду слушать я молчанье,
Тишину камней подводных.
Недвижима, словно в блюдце,
Изумрудная вода
И манит дорожкой лунной,
Потому что в мире млечном
Каждый — молчаливый путник,
Не расслышавший другого,
Не расслышанный другими,
Не расслышавший себя.

* * *

...Но сколь ни противоречивы —
Важней любых стихов мотивы,
Составившие их ядро.
Желаньем видеть жизнь без грима
Оправданы и объяснимы
Причины братья за перо.

Бумаги трепетной маранье
К чему? Чтоб грамотой и знаньем
Словарных залежей блеснуть

И этим барское желанье
Унять, в поток повествованья
Две строчки вставив как-нибудь?

В прозрениях и подозреньях,
Ты пишешь не стихотворенье,
Мгновенья ради ночь губя.
В глазах роятся аз и буки.
Ты по наитью и по звуку,
По букве создаёшь себя.

А к сожаленью или к счастью?
Кропай свои деепричастья,
Слова над буднями возвысь.
С надеждой, чтоб однажды всё же,
Нужда души и воля Божья.
Как молоко и кровь слились.

Татьяна ПАРТИНА. Позвони мне на очки. *Миниатюра*

Ольга и её муж Олег сидели каждый в своём кресле и читали, когда в дверь позвонил сосед. С ним у них были отличные отношения. Сосед был фанатом рыбалки и часто привозил им рыбу. Вот и сейчас он занёс приличную связку карасей.

Ольга отложила книгу, сняла очки, поболтала пять минут с соседом, положила рыбу в холодильник и вернулась на своё место. Взяла книгу в руки. Очков нигде не было.

– Ты опять подхватил мои очки, – возмущённо обратилась она к мужу, который в свои сорок восемь имел почти стопроцентное зрение.

– Зачем мне твои минус два, – огрызнулся тот. – Вечно ты их куда-то занываешь, а потом делаешь мне больную голову.

– Вот когда ты не можешь найти телефон, я же не возмущаюсь, а просто звоню на него.

– Если бы твои очки были такие же умные, как мой телефон, я бы тоже на них позвонил! В дверях гостиной появился их сын Вадик.

– А между прочим, тут неподалёку открылся магазин «Умные очки». Мне кажется, вам нужно его посетить.

– Твоей маме нужен магазин «Мартышкины очки», – проворчал Олег.

В магазине их встретил улыбающийся молодой человек в очках с массивной оправой, видимо, умный.

– Мы хотели бы приобрести очки, которые легко найти, – сказал муж.

– Нет ничего более простого. Обратите внимание на эту модель с ИИ и встроенными динамиками. Очки программируются на определённую фразу или звук. Самый популярный вариант – это хлопок в ладоши. Вы хлопаете, а очки, где бы они не находились, начинают пищать и сообщают: «Мы здесь». Есть ещё приятный бонус: очки могут заказать на дом пиццу или суши. Нажимаете на кончик левой дужки, и они через приложение в телефоне связываются с пиццерией. Правая дужка точно так же закажет суши. О, да вам они идут!

Следующим вечером Олег и Ольга отправилась в филармонию на концерт. Очки Ольга взяла с собой, чтобы иметь возможность прочесть программку. Они лежали в сумочке, и когда раздались аплодисменты, моментально отреагировали: начали пищать и верещать «мы здесь», стараясь перекричать зрителей. Поскольку они хлопали в ладоши

довольно часто, к концу вечера соседи начали смотреть на Ольгу довольно странно, а муж делал вид, что он вообще не с ней.

Дома сын посоветовал:

– Попробуйте перепрограммировать их на фразу «Это ограбление!» А очки пусть отвечают: «Всем лечь на пол». Вряд ли в ваших филармониях кто-то скажет что-то подобное.

На следующий день Ольга пошла в сберкасса. Присела за столик для посетителей, заполнила какой-то бланк, поболтала с соседями по очереди, подошла к кассе и уже там обнаружила пропажу очков.

– Это ограбление – позвала она свои очки.

– Всем лечь на пол, – громкогласно отозвались они со столика.

И все послушно легли.

Ольгу выпустили из КПЗ через два дня под подписку о невыезде. Олег всё это время убеждал следователя, что «эта дура» всего лишь искала очки. Дома их ждал Эверест из коробок с пиццами и суши (изучая очки, эксперты-криминалисты энное количество раз нажали на концы обеих дужек).

Половину отдали соседу. Утрамбовывая оставшееся в холодильник, Олег принялся.

– Ты про карасей случайно не забыла? Мне кажется, они начали подванивать.

Ольга заглянула в отделение для рыбы. Рядом с начинающими портиться карасями лежали её очки. Слегка пропахшие рыбой, но всё ещё способные увеличивать буквы.

– Послушай, – обратилась она к мужу. Давай-ка ты к этим очкам купишь обычный шнурок на шею. Будут очки хотя и не умные, зато всегда при мне.

Морские хроники

Аркадий ХАСИН. Мои выговоры. *(Из истории Черноморского пароходства)*

Не знаю, как сегодня, но в советское время существовала система выговоров. За нарушение служебных обязанностей человек получал выговор, а это означало лишение возможных премий. Строгий выговор – понижение в должности или даже потеря работы. За мою долгую морскую практику у меня было несколько выговоров. Расскажем о них.

13 января 1972 года на рейде (Одесского порта, – примеч. В.К.) затонул теплоход "Моздок". Загруженное на Вьетнам судно поздно вечером снялось в рейс. На море лежал густой морозный туман. Хотя капитан выходил из порта по радару, за маяком он столкнулся с болгарским танкером «Лом», стоявшим на якоре в ожидании постановки к причалу. От столкновения танкер взорвался – погибли люди. Взрыв был такой силы, что его слышали в городе, а в домах, расположенных вблизи порта, взрывной волной выбило стекла. «Моздок», получив брешь, начал тонуть. Капитан подал сигнал SOS. К судну успели подойти портовые буксиры и сняли экипаж. И только один моторист, когда судно начало тонуть, сбросил на воду надувной спасательный плот, прыгнул в него и был унесен ветром в открытое морозное море...

Через год, в конце января 1973, теплоход «Аркадий Гайдар», на котором я работал старшим механиком, стоял на том же причале Одесского порта, от которого в свой последний рейс выходил «Моздок». «Аркадий Гайдар» с грузом на Вьетнам до конца дня должен был сниматься в рейс. На море снова был густой морозный туман. Когда я вышел на палубу и протянул руку, ее не было видно. В тумане проблески Воронцовского маяка едва просматривались. На «Аркадии Гайдаре» в рейс отправлялся новоназначенный молодой капитан Анатолий Семенович Лещенко. Когда загрузку

закончили, матросы задраили трюмы и уложили грузовые стрелы, Лещенко зашел ко мне:

— Готовьте машину — будем сниматься!

— Куда сниматься? — спросил я. — Постоим до утра, туман рассеется — тогда пойдем. Т — Но мне приказал диспетчер порта, — ответил Лещенко. — Требуют освободить причал.

— Анатолий Семенович! — воскликнул я. — Вспомните "Моздок"! Зачем рисковать? Лещенко сел, закурил и тяжело вздохнул.

— Вы правы, но приказ нужно выполнять. В это время дверь каюты открылась, и на пороге появился какой-то мужчина.

— Почему вы не идете? — закричал он. — Немедленно освобождайте причал!

Это был диспетчер порта.

— Напишите нам письменный приказ для прокурора, — сказал я.

Диспетчер выкрикнул:

— У нас план!

— А у нас жизнь, — ответил я.

Вскоре на моем столе зазвонил телефон. Дежурный диспетчер пароходства сказал:

— Портовики жалуются, что вы не уходите. Немедленно отходите.

Но мы продолжали стоять. Письменный приказ так и не получили. К утру туман рассеялся, и мы благополучно снялись в рейс. Но за этот простой и невыполнение указаний диспетчеров я получил выговор. Меня лишили тринадцатой зарплаты.

Таков был первый выговор. Потом была еще один. Расскажу и о нем.

Через несколько лет после этого случая мы загружали в Одессе хлопок на Японию. Тюки хлопка привозили по железной дороге из Средней Азии и морем отправляли в Японию. В то время Суэцкий канал после Шестидневной войны 1967 года между Израилем и Египтом был закрыт на 10 лет, и путь в Японию пролегал вокруг южного края Африки. Переход занимал полтора месяца. После окончания погрузки хлопка мы начали принимать бункер. В общей сложности взяли две тысячи тонн топлива. Но при этом «утопили» грузовую марку. На борту каждого торгового судна есть красная линия, ниже которой грузить нельзя. За этим строго следит капитан порта.

Мало кто знает, что в каждом порту есть капитан порта, дающий любому судну право на выход в море. Не знаю, как за границей, но в Советском Союзе капитан порта выдавал морякам паспорта и рабочие дипломы на основании дипломов об окончании мореходных училищ и плавательного ценза. Перед каждым выходом судна в море инспекторы капитана порта проверяли, как загружено судно. Как я уже сказал, после принятия двух тысяч тонн топлива мы «утопили» грузовую марку. Выход в море нам запретили, потребовав отгрузить часть груза. Именно за то, что во время бункеровки не учел требований безопасности плавания, я и получил второй выговор.

По возвращении из Японии, согласно этому выговору, меня должны были перевести на должность второго механика. Но поскольку до этого я обладал положительными характеристиками и больше никаких замечаний не было, комиссия пароходства, рассматривавшая это дело, решила строго меня предупредить. В дальнейшем я работал без особых замечаний.

Давно уже нет Черноморского морского пароходства. Я давно на пенсии. Как сегодня работают капитаны портов — не знаю. Наши моряки ходят в плавание под чужими флагами. Но под каким бы флагом ни плавал моряк, он должен благополучно возвращаться домой. Проработав не один десяток лет на судах ЧМП, я всегда возвращался в родной дом. А выговоры, о которых я рассказал, шли мне только на пользу.

Одесские зигзаги

Сергей БРАЙКО. Что для меня Одесса?

Это, несомненно, акация. Цветение этого серебристого дерева приходится на моё любимое время года – на конец весны и начало лета. Всё самое лучшее, что было в моей жизни, произошло именно с конца апреля по июль: лучшие школьные дни, выпускные балы (и мой, и моей будущей жены), свадьба, рождение сына, мой день рождения, в конце концов. И всё это сопровождалось цветением акации. Причём процесс этот растягивался аж до середины лета. После акации начинают цвести её ближайшие родственники: мимоза, софора, робиния. Но особо меня потрясает душистый медовый запах именно акации серебристой. Да и как можно относиться к этому дереву равнодушно, если ветви его лезут к тебе прямо в открытое окно? Когда несведущий человек поднимался к нам на третий этаж «хрущёвки», первый вопрос его был: «Чем у вас так пахнет? Что за духи такие?»

Это уже там, через дорогу, разносилось буйство запахов парка Савицкого, проснувшегося от зимней спячки. А здесь, в квартире, рядом с нами (со мной и сестрой) всю жизнь прожила и раз в год благоухала она, наша акация. Для нас она была чем-то вроде старшей сестры, вроде живого оберега, сказочницы, шептавшей нам своей листвой на ночь сказки. Каждое кольцо под её корой – это свидетель наших радостей и наших невзгод. Мы не знаем, кто и когда посадил это дерево в трёх метрах от стены дома. Скорее всего, она – свидетельница строительства нашей хрущёвки. Люди пощадили юную красавицу. И снова чудо – вселялась наша семья в мае, во время её цветения. Помнится, как малолетняя сестрёнка, высунувшись по пояс из окна, срывала с дерева гроздь акации и, откусывая по одному, поедала сладковатые цветы. А уже потом, через много лет, когда в нашей стране настали тугие времена, а надо сказать, что они у нас почти всегда были тугими, такелажник с Холодмаша дядя Слава Варварчук изрёк такую фразу: «Ну хорошо, летом хоть акация есть, а что зимой жрать будем?»

Так что акация для Одессы – это не просто бренд, а ещё и стратегический объект.

Что для меня Одесса?

Это – компот!

– Фрида! А ну посмотри, что там у Муськи так вкусно пахнет?

– Компот крутит. В бутылки по три литра!

– А с чем?

– Ой, тебе не все равно? Иди на Привоз, шо возьмёшь, то и накрутишь!

Пришёл к вам гость, да вдруг неожиданный. Вы же не полезете в холодильник за фаршированной рыбой или за шейкой? А может, вы ему ещё форшмак намажете на хлеб? Правильно, у настоящего одессита в холодильнике, особенно летом, должен быть компот. Мой внук, а ему ещё и четырёх нет, знает об этом. И, буквально переступив порог, требует:

– Бабушка, дай компот!

Пришёл к вам мастер по ремонту телевизоров, почтальонша пенсию принесла, соседка явилась за пол-лимоном, и что вы им предложите? Я обязательно предложу холодный компот!

Это у них там, во Львове, всё пахнет «кавой». А у нас – жареными синими, кабачками и... компотом. Клубника, малина, смородина, шелковица... Всё, что есть под руками, всё – в компот!

Кстати, о шелковице. Мой сын в детстве называл её клубничкой, растущей на дереве, а крыжовник – маленькими арбузиками. Детские ассоциации – самые точные.

В детстве и меня, к кому бы в гости ни заходил, везде угощали компотом. Холодильников тогда не было, поэтому варили не много, но почти каждый день. Мужики шли на работу – брали с собой бутерброды и бутылку с компотом. Все мои друзья и знакомые уже давно не шутят надо мной. Они знают: компот – это хорошо, компот – это вкусно. А для меня – это ещё и традиция. А традиции нужно беречь!

Что для меня Одесса?

Это – люди. Когда я первый раз поехал в Киев торговать картинами на День города, первым моим впечатлением было: насколько всё легко и просто.

Посмотрел на киевлянина и сразу всё понял: нравится – не нравится, будет брать – не будет. Прямо видно, кем он работает и сколько у него денег в кошельке. Просто и скучно. То ли дело одессит! Начинает говорить, а у тебя компьютер в мозгу должен быть прогретым. Потому что говорить покупатель будет одно, думать другое, а подразумевать третье.

Ничего не подделаешь, это торговля по-одесски: шахматы! Зато в мелочах одессит не кинет. Мне, например, приятно наблюдать, как с задней площадки трамвая люди несут водителю купюры, уже выйдя из вагона.

Одесситом не обязательно быть потомственным, как я, или рождённым здесь. Главное – принять этот город, и чтобы он тебя принял. Так сказать, соблюдать «кодекс одессита».

Одессит должен, прежде всего, быть оптимистом, и если даже «Черноморец» проиграл со счетом 5:0, можно легко объяснить поражение наличием в составе победителей аргентинцев.

Желательно, чтобы одессит играл на каком-то музыкальном инструменте. И если ваша мама допустила пробел в этом качестве вашего воспитания, не отчаивайтесь – всякому искусству предела нет. Вспомните хотя бы городского сумасшедшего, игравшего на Дерibasовской арматуриной по стеклянной бутылке.

Одессит должен уметь готовить. Я вам раскрою один секрет: чтобы было вкусно, нужно просто дождаться, когда все будут голодными. Первый кулинарный эксперимент я провёл у одноклассника Рачи на его даче. Утром я проснулся первым. Пошуршав на кухне, обнаружил две консервы рыбной ухи. На пятилитровую кастрюлю четыре кусочка рыбки и 5-6 горошин перца явно мало, чтобы накормить пятерых одноклассников. Я опять занялся поисками. И вот – о чудо! – нашёл манную крупу. Ну, хоть какой-то наполнитель. Сыпанул, помешал – мало... Ещё сыпанул, ещё помешал... Дальше вы, наверное, и сами догадались... Манную кашу с рыбой я больше не ел нигде и никогда. Пацаны, я думаю, тоже. Но на тот момент это было почти ресторанное блюдо.

А ещё одесситы отличаются предприимчивостью. Вот как начали с апельсинов, так и пошло-поехало. Так как я связан с художниками, то приведу один пример из их жизни.

Кириак Костанди уже был известным мастером в кругу одесских ценителей искусства. Жил безбедно, так как за свои полотна получал соответствующие гонорары. В это же время начал заявлять о себе молодой художник, тоже грек, Харламбий Костанда – с ударением на последний слог. На одной из вечеринок, где им довелось быть вместе, молодой подошёл к мэтру и произнёс такую речь: «Кириак Константинович, Вы уж не сердчайте, я, когда расписываюсь на холсте, последнюю букву иногда недокручиваю, и очень на Вас бывает похоже».

«Да ладно уж, увольте», – снизошёл Костанди. Так Харламбий потом изловчился и первую букву «х» выписывать как «к». Зачем он это делал – понятно, только вот потомкам от этого – головная боль...

Тамара КОЛЕНКО. Одесская коммунальная квартира

1950-1960-е годы. Кинофильмы, спектакли, шутки, анекдоты вряд ли могут отразить реальную атмосферу одесской коммуналки того времени.

Не знаю, как нынче уживаются в коммунальных квартирах одесситы, а таковых и сегодня немало, а вот как жили в годы моего раннего детства, помню очень детально, будто было это совсем недавно.

Немногим нашим землякам выпало огромное счастье жить в то время в самостоятельных квартирах. Большинство одесситов делили с соседями кухню, туалет, коридор и другие места общего пользования. По меркам того времени коммуналка на улице Льва Толстого, в которой я родилась, может считаться практически идеальной. В квартире жило всего три семьи. Это были шикарные условия.

Вход в наш дом с одноименной площади начинался дубовой дверью с металлическими узорами, дальше мраморная лестница с витыми перилами, высоченные потолки. Был и чёрный ход со двора: винтовая металлическая лестница, казавшаяся мне, малышке, входом в царский замок. Самым интересным для меня был общий балкон, на который можно было попасть и с чёрного хода, и выходя из кухни. А из кухни был выход в коридор и к дверям комнат.

Коридор в коммунальной квартире может многое рассказать о своих жильцах. Если в нём свалка всякой рухляди, давным-давно вышедшей из употребления, и, проходя по коридору, ты рискуешь опрокинуть на себя кучу старого барахла, значит, твоих соседей совсем не интересуется удобство передвижения других жильцов квартиры.

У нас в квартире ничего подобного не было. Висели, конечно, на стенах огромного коридора разные вещи, но они не мешали ходить и даже бегать маленьким внукам хозяев квартиры. Помню корыта, санки и лыжи (вдруг случится снежная зима!), велосипеды, «украшающие» широченный коридор с высокими потолками. Под одной из дверей стоял старинный сундук, но он тоже никому не мешал, зато выглядел как предмет из сказки.

А чистота! У нас в местах общего пользования порядок был просто идеальный. Существовал график уборки, который строго соблюдался. К праздникам (Рождество, Пасха, 1 Мая, 7 Ноября, Новый год) общими усилиями проводились генеральные уборки. А к Пасхе организовывали обязательный косметический ремонт – побелку и покраску потолков и стен мест общего пользования. Ко всем ходили гости. Как мне

позже рассказывали взрослые, никогда не было никаких ссор, конфликтов, даже мелких споров или упрёков.

Запомнилось, как однажды я, малышка, забрызгала водой из крана белоснежную стенку в кухне. Разрыдалась, меня с трудом успокоил мой дядя, объясняя, что водичка чистая, высохнет, никакого пятна не останется.

Но это была наша коммунальная квартира. А какими были другие? Исходя из накопленного жизненного опыта, спустя много десятилетий, я сформулировала для себя чёткое определение одесской коммуны.

Вариант первый:

коммунальная квартира – содружество людей разного возраста, социального происхождения, разных национальностей, профессий, вероисповеданий, уровней образования, семейного и материального положения, объединённых необходимостью пользоваться общими бытовыми благами.

Вариант второй:

коммунальная квартира – враждующая общность людей разного ... (далее смотри вариант первый).

Вариант третий (самый реальный!):

коммунальная квартира – вариант первый + вариант второй.

Поясняю свои формулировки: в любой большой или малой коммунальной квартире чаще всего, но не всегда, проживали очень разные люди; одни симпатизировали соседям, другие дружили, третьи только здоровались, четвёртые враждовали и т. д. Взаимопомощь, забота, поддержка, помощь могли соседствовать с осуждением, завистью, негодованием, откровенной ненавистью. Все люди разные, каждому своё.

Некоторые «расшифровки» понятий, связанных с коммунальной квартирой:

коммуналка, коммуна – квартира на несколько семей;

малая коммуна – квартира, где проживает 2-3 семьи;

квартиросъёмщик – человек, на которого оформлены квартирные документы;

ордер – документ, дающий право на вселение в квартиру;

отопление – печное, с середины 1960-х АГВ (газово-водяное);

комнаты – светлые с освещением, тёмные без окон, полутёмные с окнами в коридор или на стену соседнего дома; смежные с одним входом, отдельные с дверью в каждую комнату;

удобства – туалет, водопровод, ванная комната, ванна, душ, газ, центральное отопление, кухня, горячая вода, телефон;

подсобные помещения (все, кроме комнат) – кухня, коридор, туалет, ванная комната, кладовая, балкон, антресоли, стенные шкафы, закоулки.

В нашем родном городе долгие годы люди жили и в подвалах (глаза на уровне земли или ниже уровня земли). 1-й этаж дома мог быть на уровне земли, бельэтаж на несколько метров выше уровня земли, высокий бельэтаж на 6-7 ступеней лестницы (часто мраморных) выше уровня земли (асфальта).

Квартплата

Все квартиры были государственными. Жильцы оплачивали коммунальные платежи в сберегательных кассах. Некоторые цены: 15 коп. за 1 кв. м полезной площади

(комнаты), за остальную площадь (кухня, коридор, туалет и т. д.) не платили. Электричество – 4 коп. за квт. ч. Вода и газ оплачивались по количеству жильцов.

Коридор

Из подъезда (парадной) направляемся в коммунальную квартиру. На двери звонки с указанием фамилий. Рядом почтовые ящики с номерами квартир, фамилиями жильцов и наклеенными заголовками названий получаемых газет и журналов. В коридоре индивидуальные лампочки и электросчётчики. В коридорах можно было увидеть сундуки, столы, этажерки, на стенах велосипеды, санки, лыжи, корыта, тапки с ручками. В некоторых квартирах над головами располагались верёвки, на которых сушилось бельё.

Кухня

Водопроводный кран в квартире чаще всего один. Мыли продукты, посуду, набирали воду для стирки, умывались, чистили зубы, мыли шею. Готовили на керосинках, керогазах, примусах, позднее – на газовых плитах с баллонным газом, ещё позднее – с природным.

У каждой семьи свой столик и шкафчик с полками для хранения посуды. На столе чистили и нарезали овощи, рыбу, мясо. После еды всю посуду сразу же мыли.

Здесь варили, жарили, делали заготовки на зиму, засаливали любимую одесскую еду – рыбу, мыли посуду, стирали, крохмалили и вываривали бельё, грели утюги для глажки. Примус или керогаз – запоминающиеся атрибуты коммунального быта. Как правило, в кухне никогда не ели. Из кастрюли в супницу переливали борщ, суп или бульон, относили в комнату, а там уже наливали в тарелки. Только в случае общих праздничных застолий в кухне могли накрывать столы.

Туалет

Жили в Одессе по-разному. У кого-то туалет был во дворе, у других даже во дворе дома напротив, т. е. через дорогу. Те, у кого была возможность важный жизненный процесс осуществлять в квартире, хоть и по графику, были почти счастливыми. На стенах туалета висели круги для унитаза, были вбиты гвозди с кусками газеты.

У кого-то была ванная комната, а в ней **ванна или душ**, а иногда, то и другое вместе. А ещё могли быть **балконы, кладовки, антресоли, стенные шкафы, закоулки**.

Всегда актуальными были **обмены** квартир: **размен, съезд, тройной (четвертной и т. д.), равноценный, с доплатой** (законом запрещённый), также **продажа и перепродажа** комнат и квартир через фиктивные браки, фиктивные разводы, переезд в город бабушек и дедушек из сельской местности и многие другие действия активных одесситов.

Жилищный вопрос во все времена был и остаётся чрезвычайно важным. Когда одесситы получали отдельные благоустроенные квартиры, то им уже не нужно было топить «грубу» (так называлась печка), убирать по графику, готовить тогда, когда коммунальная кухня бывает переполнена соседями. Газ, горячая вода, ванна и душ, отдельный туалет, стенной шкаф и балкон во многом облегчили быт горожан, домашний труд хозяек. Но прожитая часть жизни в коммуналке не прошла бесследно. Многие одесситы ещё долгие-долгие годы продолжали общаться, дружить с бывшими соседями. Эх, вспоминать да вспоминать!

Но воспоминания эти у всех очень разные. У кого-то они овеяны счастьем, нежностью и любовью: молодые и любящие мама и папа, бодрые, затейливые бабушки и дедушки, летом солнце, море и пляж, зимой, хоть и нечасто, снежные зимы с санками, горками, снеговиками, а иногда даже лыжи и коньки. И любимый, лучший в мире город!

У кого-то воспоминания о родной коммуналке: дым на кухне, тараканы, грязь, склоки между соседями. Каждому своё! На всё судьба!

Напоследок не могу не поделиться одной историей. Около года назад одесский краевед прислал мне «на опознание» фотографию 1916 года. На ней один из двух мужчин – мой сосед из нашей коммунальной квартиры, который родился в 1870 году и прожил 99 лет. И хотя в том доме на улице Льва Толстого я жила давным-давно, мои родные переехали, а потом ушли в мир иной, я не только узнала нашего соседа, но и вспомнила многое о его семье, к которой принадлежала очень известная советская писательница. Я помню её, и мне нужно обязательно о ней написать. Но это уже совсем другая история.

